

ЕЛЕНА
ЕРМОЛОВИЧ



18+

РТУТЬ и ЗОЛОТО

Елена Ермолович

Ртуть и золото

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ермолович Е. Л.

Ртуть и золото / Е. Л. Ермолович — «Издательство АСТ», 2022

ISBN 978-5-17-149051-5

Лекарь Яков Ван Геделе прибывает в Москву, только что пережившую избрание новой императрицы. Потеряв своего покровителя, шпиона, отравленного ядом, Яков бежит в Москву от дурной репутации – в Кенигсберге и Польше молва обвиняла в смерти патрона именно его. В Москве, где никто его не знает, Яков мечтает устроиться личным хирургом к какому-нибудь в меру болезненному придворному интригану. Во время своей московской медицинской практики Яков наблюдает изнанку парадной столичной жизни и в необычном ракурсе видит светских львов и львиц. Среди них – пара императорских фаворитов, составляющих с императрицей безумный любовный треугольник, Бюрен и Левенвольд, герои романа «Золото и сталь»...

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-149051-5

© Ермолович Е. Л., 2022

© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Павлины и тати	6
Яков Ван Геделе	13
Трижды благословенный	15
Иван Трисмегист	22
Дядя и племянник	24
Йоганн Альбрехт фон Корф	30
Ландрат и церемониймейстер	32
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Елена Ермолович

Ртуть и золото

Иллюстрация на обложке – Мария Григорец

Серийное оформление – Василий Половцев

Внутреннее оформление – Ирина Гришина

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.



Издание подготовлено при участии литературного агентства «Флобериум».

© Е. Ермолович, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

*And, to be sure that is not false I swear,
A thousand groans but thinking on thy face
One on another's neck do witness bear
Thy black is fairest in my judgment's place.
In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slander as I think proceeds.*
(Sonnet 131 by William Shakespeare)

Павлины и тати



– Настепнего ранка пшибылы два трупе, – пел возничий на облучке с таким нарочитым трагическим завыванием, что его пассажиры, не знавшие по-польски, переглянулись и спросили:

– О чем может быть эта песня?

– Наутро приплыли два трупа, – перевел с удовольствием нотариус-поляк, а товарищ его прибавил перевод уже следующей фразы:

– И весла с того челнока.

Два пассажира, лекарь-фламандец и жид-ювелир, пригорюнились. И было отчего – холодно было в карете, печку пожадничали, понадеялись, видать, на весну раннюю и дружную. И соседи по карете, те самые два нотариуса-поляка, попались сволочи. Нотариусы день свой начинали с чеснока, как будто ждали нападения упырей, и продолжали – зловонным дешевым табаком, и так до самой ночи, до постоялого двора.

Наконец-то возле Ченстохова поляки сошли, и ямщик крикнул трубно и весело:

– Принимай павлинов!

И не обманул – в карету забрались два монаха-паулина, в коричневых католических рясах. Один прижимал к груди квадратный маленький сверток, а другой – наоборот, сверток веретенообразный.

– Что ж в багаж не привязали? – огорчился Фима Любшиц, ювелир жидовский, пожилой юноша, мелкий, острый, с томно припухшими розовыми веками. Был Фима тонок и изящен, но все равно опасался, что со свертками – места ему в карете совсем не останется.

– Нельзя! – строго отвечал монах и прибавил, смеясь: – То реликвии святые.

Под своим капюшоном был он весел, румян, словно блином умыт, и белые отросшие волосы нежно осеняли его голову и щеки – как пух на утенке, видать, с дорожными заботами монах позабыл побриться. Глаза католик имел самые плутовские и говорил высокой темпераментной скороговоркой, словно был не монах, а, например, барышник. Спутник его, тот самый, что с длинным свертком, лысый, огромный, занял собою полкареты и теперь сидел молча, потупив очи, и притворялся спящим. Обросший же католик-весельчак пристроил свой маленький сверток на коленях и спросил, горохом рассыпая быстрые немецкие слова:

– А что, ребята, кто ведает – открылась ли Москва?

– А разве была она закрыта? – удивился четвертый пассажир, Яков Ван Геделе. Яков этот, по профессии лекарь, был молод и хорош собою, темной масти, но с глазами очень светлыми, такие глаза романисты именуют бриллиантовыми. Неправильность черт его искупалась их живостью и почти девической миловидностью.

– Тю, как же ты едешь и не знаешь! – расхохотался монах. – Почитай, весь февраль Москва закрыта была, кордоны стояли, не пушали никого – ни на въезд, ни на выезд. По поли-

тике ловили кого-то. А сейчас – отверзли врата, гуляй голытьба, – монах поднял руки, потянулся, и под рясой его что-то весело звякнуло.

Стояла весна одна тысяча семьсот тридцатого года – в России только-только выбрали новую государыню, и потому, наверное, перекрывали и дорогу в столицу – власть делили, берегли сладкий каравай от лишних ртов.

Ямщик затынул опять свою трагическую протяжную песню, и некому больше стало пере-вести – о каких еще новых злосчастьях ведется в ней речь.

Фимка спросил с ласковой осторожностью:

– А вы, святые отцы, не страшитесь ли разбойников?

Весельчак тут же отвечал с готовностью:

– Слышал ли ты, жидовин, о воинстве Христовом? Добрый монах всегда отстоит себя.

Спутник его очнулся на миг, разбуженный подвернувшейся под полозья кочкой, и про-бормотал что-то по-русски, то ли в ответ на Фимкин вопрос, то ли так. Явно не ждал он, что его здесь поймут, да только Яков Ван Геделе по-русски прекрасно понимал. И разобрал, что именно сказал гигант как бы про себя:

– А чего нас бояться?

Как только дорога завернула в лес, ямщик бросил петь, и паулины почему-то соскучи-лись, как будто чего-то им в дороге стало недоставать. Жид и фламандец переглянулись – дур-ное предчувствие передалось и им. Такой лес, темный, хвойный и долгий, по всему обещал разбойников. И – не обманул.

Кони вдруг встали, и тут же послышался жуткий свист – как будто отовсюду сразу, – и выстрелы, и ямщик мешком свалился с облучка. В переднее окошко видно было – и как он упал, и поваленное дерево, преградившее лошадям дорогу.

– Вот и здрасьте, кошкина отрыжка! – как будто даже обрадовался обросший весель-чак-паулин, будто бы обрел наконец-то нечто долгожданное. Товарищ его мгновенно размотал свой сверток, извлек из него два ружья.

– Кто горазд – стреляет, остальные – на пол, – скомандовал он весело и прикладом вышиб у кареты стекла. Фимка тут же с готовностью скатился на пол, по пути уже что-то пряча во рту. Ювелир, не кот начхал. Яков с не меньшей готовностью рванул из-за пояса единственный пистолет, присел возле импровизированной бойницы и взгляделся в заснеженные ветви – не мелькнет ли среди них голова. Не мог он не оценить – невольно – как вдруг ожил и заиграл огненно прежде сонный здоровяк-монах.

– Одного снял! – Грохнул выстрел, кусты шевельнулись, брызнули снегом и польской руганью, и гигант похвалил сам себя: – Ай да я! А где первый – там и второй!

Яков даже не видел разбойников за ветвями, а этот, божий человек, – прекрасно разли-чал, и готовился уложить еще пару. Белокурый же весельчак-паулин тем временем выбрался из разбитого переднего окошка на облучок и теперь поворачивал карету – в обратный путь. Слышно было, как пули свищут над облучком, но вотще – отважный паулин уцелел, развернул карету, и кони заржали, и понесли – уже обратно.

– Слава господу, кони целы, – монах зорко оглядел несущиеся за окнами деревья – снеж-ный сквозняк так и стремился в разбитые стекла, – поддернул рукава, снял ружья с окон и бережно завернул их обратно в рогожку. – Вот и отстрелялись. Поднимайся, кончилась потеха, – толкнул он ногою все еще дрожащего на полу Фимку.

– Куда мы теперь? – спросил Яков, убирая пистолет обратно за пояс. Было ему немно-жечко стыдно – стрелять-то он стрелял, да только навряд ли попал в кого.

С облучка отозвался импровизированный возница:

– До Варшавы объездом, здесь осталось с гулькин хер. А там – нового кучера отыщем, не я же вас до Москвы повезу, я не за то деньги выкладывал, чтобы на ветру зад морозить. – Видно, то была шутка – весельчак сам себе рассмеялся.

– Как же не попали в тебя? – подивился со своего места Фимка, уже успевший разложить сокровища изо рта обратно в кошель. – Ведь пули так и свистали, так и свистали...

– Отчего ж не попали? – возразил с облучка паулин, и видно было, как он пальцы продел – в дыры от пуль на коричневой рясе. – Очень даже попали. Вот, вот и вот, и ляжку зацепило, но там царапина, я даже перевязывать не стал. Заступница выручила, матушка, – монах похлопал себя по груди, отозвавшейся деревянным звуком. – Я ее храню, а она – меня.

– Икону, что ли, везешь? – догадался Фимка.

– Ее, чудотворную, – подтвердил возница.

Товарищ его тем временем вернулся в мирную свою ипостась – прикрыл веки и заклевал носом.

В номере варшавской гостиницы паулины мгновенно переменили католическую славную веру – на русскую ортодоксальную. С изумлением глядели Фимка и Яков на стремительное переоблачение из коричневых простреленных ряс – в черные рясы русских монахов. У обросшего блондина-весельчака под рясой обнаружился не только сверток с иконой, но и кольчужный доспех, дорогой и редкий – ювелир Фимка тут же оценил его и аж присвистнул от восхищения:

– Так вот что тебя хранило! А я-то думал, и впрямь икона...

– Нет спасения без истинной веры! – поднял значительно палец другой монах, тот, что прославил себя недавно меткой стрельбою. – А доспех – то лишь видимая подмога.

Тут дверь приоткрылась, заглянула девица непотребного рода занятий – о чем свидетельствовали веселые ленты на ее переднике, – и поманила философа за собою. Тот разгладил на себе новую черную рясу и устремился на поиски приключений.

Ювелир Любшиц, уже осознавший, что спутники их недалеко ушли от недавних лесных татей, устроился на краю кровати, завернувшись в одеяло, как куколка, и приготовился отойти ко сну. Он пожелал соседям спокойной ночи, затем извлек из поясного хранилища какие-то свои ювелирные сокровища и рассовал за щеки, словно белка орехи. После чего – смежил веки и то ли уснул, то ли прикинулся спящим.

Монах и Яков – сидевшие верхом на стульях друг напротив друга – переглянулись, монах окинул молодого человека неожиданно колючим взглядом сощуренных лисьих глаз и проговорил вполголоса:

– Что-то мы забыли познакомиться. Или нарочно не удосужились. Но жид, – кивнул он на завернутого в куколку Фимку, – трус и шляпа, и похер, как его звать. А ты молодец, стрелял, не спужался...

– Мне не привыкать, – усмехнулся Яков.

– Иван, – представился монах и после паузы прибавил: – Трисмегист. Божий человек, как сам видишь.

– Яков Ван Геделе, – представился и Яков, – лекарь. А ты, выходит, русский? Или грек? Трисмегист...

– Русский, – лисьи щелки глаз зажглись лукавством.

– Я знаю по-русски, – похвастался Яков. – Мальчишкой в Москве живал, еще при царе Петре.

– Значит, при тебе не стоит нам с товарищем по-русски сговариваться, – подмигнул собеседнику весельчак Трисмегист и вдруг извлек из-за голенища плоскую фляжку, протянул Якову: – Отведай-ка, лекарь, русского гостинца. Зелено вино, полугарное!

Яков сделал глоток и вернул флягу хозяину.

– Скажи, Иван, а Трисмегист – не в обиду тебе, – уж больно чудное имя. Откуда оно такое?

– Ты же в Москве живал, – монах отхлебнул из фляги и протянул ее собеседнику – поновой, – и о людях тамошних слышал. Знаешь, вор на Москве есть знатный – Иван Каин? А я, наоборот, Иван – но Трисмегист. Внял?

– Уж понял, что ты не монах, – Яков обжег горло огненной водой, закашлялся. – Значит, это у тебя не фамилия, а вроде титула.

– Лстец! – монах встал со своего стула и от души хлопнул давящегося Якова по спине – кашель прекратился. – Нет у нас титулов, мы не бары.

– Кто ж тогда – неужто все-таки монахи? Один философ так и называл остроги – монастырями дьявола.

Трисмегист вдруг расхохотался так, что в горле забулькала водка:

– Тогда уж к твоим услугам – послушник Карманно-Тяжского мужского монастыря города Охотска, под патронатом архиепископа Тихона Воровского, – он даже поклонился головой в шутовском поклоне. – А сам-то ты – кто, откуда? Если не тайна.

– Да уж точно не тайна, – улыбнулся Яков – улыбка у него выходила детская, совсем бесхитростная и какая-то ласковая. – Лекарь, в Лейдене отучился медицине, после странствовал четыре года с шевалье одним, да осиротел, хозяин мой помер. Вот, возвращаюсь в Москву, к дядюшке под крыло, как русские говорят – несолоно хлебавши. Дядька мой доктор в Москве известный, Клаус Бидлоу. Может, знаешь?

– Кто ж на Москве Бидлоу не знает? Добрый человек, – колючие глаза Трисмегиста потеплели. – Нашего брата с дерьмом не мешает, различий не делает. Пулю из братишки моего как-то вырезал. Хороший у тебя дядька. А что за шевалье такой был, что с тобой по Европе шастал? Может, тоже знал я его?

– Шевалье де Лион, – вздохнул опечаленно Яков, с некоторой, впрочем, наигранностью. – Тонкий был господин, шпион искусный, у трех орлов на жалованье. Сам понимаешь: тут и дамы, и гризетки, и балы у немецких князей – только успевай отряхиваться. Да только не уберечь его, свое неверное счастье.

– Как же так?

– Захотелось шевалье в коллекцию и четвертого орла, цесарского, и тут-то ему неведомый завистник тофанки и подсыпал. А я с противоядиями – ну, так себе... Да и нет противоядия пока что от аква тофаны. Вот я и осиротел – отправился мой шевалье в фамильный склеп, а я – к дядюшке, обратно, в Москву, в дерьме и позоре.

– Так ты, выходит, с алхимией накоротке? – оживился Трисмегист.

– Я лекарь, – отвечал Яков, как будто извиняясь, – От кашля могу микстуру состряпать, или от колик, или чтоб не спать всю ночь. Или – чтобы, наоборот, уснуть.

– Или микстурку, после которой человек как на духу все тебе выложит...

– Есть и такая, только для нее эфедра нужна, – легкомысленно отозвался Яков.

– Я тебя в Москве разыщу, – пообещал явно вдохновленный Трисмегист, – пошепчемся.

Они прикончили флягу с водкой. Фимка в своей одеяльной куколке вполне натурально посапывал – спал, не притворялся.

– И нам надо ложиться, – спохватился Яков, – завтра дорога.

– Может, еще по одной? – предложил искушитель-монах и потянулся к другому своему голенищу. – Завтра в карете выспишься. Вряд ли тати еще полезут – у них эстафета, весь тракт уж наслышан, как мы отбились.

– У них что, как у дипломатов – почта? – удивился Яков, принимая из рук второй уже шкалик.

– Вроде того. Не хотелось нам славы, да увы – нашла и за печкой, – без радости признал монах.

– Погоди, Иштван, если вы с приятелем – не монахи, для чего ж вам икона? Не заместо же доспеха, в самом деле?

Трисмегист Иштвана проглотил спокойно, а за икону, видать, обиделся.

– Думаешь, раз лихой человек, так сразу и нехристь? – Он задумался, почесал в голове, ероша тонкие белые волосы. – Это непростая икона, лекарь, она многое может. И ждут ее в Москве не дождутся. Слышал, наверное, про черных богородиц, и про матку бозку Ченстоховску – что они умеют?

Яков уже видел однажды черную мадонну, в Испании, в католическом монастыре. То была статуя с темным, как у арапов, лицом. Шевалье де Лион, покойничек, рассказывал, что мадонна умеет исполнять желания, но исполняет их так, что потом сам не будешь этому рад. Яков хотел было подложить мадонне записочку – просьбу о благосклонности одной испанской доньи, да шевалье отговорил – сказал, что, даже если дело и выгорит, потом или от доньи вовек не отвяжешься, или помрет она под тобою, или наградит чем, – и Яков побоялся, не стал чернаву ни о чем просить. Значит, есть где-то и такие же иконы...

– Я слышал, как черные мадонны желания исполняют, – сказал он Трисмегисту. – Ты что ж, украл ту, польскую?

– Не, это список, – протянул монах. – Да только список неточный, вполовину парсуна. Вот, угадаешь, чья?

Он распеленал четырехугольный сверток, отогнул рогожу, и в самом деле в одном месте прорванную пулей, поднес дрожащую свечу и приоткрыл темный лик:

– Узнаешь? Или не знаешь, кто она?

Яков взгляделся – дева на иконе была печальная, в годах, с темными соболиными бровями, жалобно изогнутыми, и два светлых перламутровых шрама пересекали тонкими нитями ее правую щеку. Впрочем, и оригинальная матка бозка Ченстоховска была так же посечена татарскими саблями.

– Красивая... Кто же она? Русская – так, может быть, Софья? – припомнил Яков опальную русскую регентшу, окончившую дни свои в монастырском заточении. В детстве, в Москве, встречал он в доме одного смельчака икону, на которой одна из мучениц была именно с Софьиным лицом. Так русские оппозиционеры выражали царю Петру свою скромную фронду.

– Матушка Елена, – с неожиданной теплотой представил Трисмегист персону на иконе. – Я за нее в Охотске шесть лет провел, как один денек – по ее, горемыки, делу. Царя Петра первая жена, в миру Евдокия, Авдотья, в заточении – инокиня Елена. Добрая была у меня хозяйка. Да только, как и ты своего шевалье, не уберег я ее...

– Неужели казнили? – ужаснулся Яков, он только отзвуки слухов слышал – о деле царицы Евдокии.

– Борони бог! – отмахнулся монах. – Жива, и по сей день жива. Под Москвою живет, не в прежней силе, но почти все ей вернулось. Только шрамы с лица не смоешь, сколько ни умывай.

– Расскажи мне о ней, – Якова зачаровал грустный лик, траурный, и в самом деле – словно в патине перенесенных страданий. Как будто женщина эта многое потеряла и видела ад – и оттого и сделалась столь прекрасна. Так прекрасны бывают чахоточные, обреченные на смерть.

– Что ж рассказывать – добрая женщина, честная, хозяйка щедрая, и в вере истинной крепка. Да только невезучая она очень. Но бог несет ее в своих ладонях – кто зло ей делал, получал в обратку точно такое же зло. Мерой за меру. Сына ее единственного царь казнил – так через год-другой его сын, от любимой новой жены, помер. Потом было то дело, по которому я в Охотск загремел – дело Глебова. Поручик Глебов был у моей хозяйки сердечный друг. Так царь, дурак ревнивый – и сам не ам, и другому не дам, – казнил Глебова. А через год или два – и у новой его жены сыскался полюбовник, и на той же площади, говорят, голову сложил. Все зло, что хозяйке делалось, той же мерой и злодеям ее отливало.

Яков задумался – о том, как сочетаются крепость истинной веры и наличие милого друга, но промолчал.

Трисмегист завернул икону обратно в рогожку:

– Жаль мне ее, хозяйку. И на дыбе висела, и шрамы ей муженек на допросах оставил – те шрамы, что ты видел на парсуне, они – взаправду. Наше-то дело было холопское, зубы стиснуть да терпеть, а она была как-никак царица. Не для того ее звезда зажигалась...

– И ты списал икону с той, польской – чтоб хозяйку порадовать? – попробовал угадать Яков.

– Видать, и в самом деле спать нам пора, чушь ты начал пороть, – зевнул монах. – Икону мастер писал, я не умею. И где видано, чтоб человеку в подарок такие парсуны писали? Нет, Яша, матушка Елена о своем портрете и не знает, и, бог даст, не проведает никогда. Другой у меня заказчик, к нему и еду.

– Кто же? – спросил Яков.

– Ты же ученый, знаешь, что Трисмегист означает трижды благословенный. И так уж совпало – в Москве меня ожидают с сей парсунной как раз именно трое. А вот кто – не скажу. Давай и в самом деле спать. Хочешь – на сон грядущий загадай богородице желание, она гораздо желания исполнять.

– Да только желания так сбываются, что себе дороже, – пробормотал Яков, уже здорово хмельной, присел на край кровати и принялся стягивать сапоги. – Я уж воздержусь. Спокойной тебе ночи, Иштван.

Трисмегист поморщился от фламандской транскрипции собственного имени, задул свечу и тоже завалился спать.

Хлопнула дверь – вернулся ночной гуляка, вкусивший даров амура. Отодвинул спящих, освобождая себе место, улегся на кровать, не снимая сапог, и трубно захрапел.

На подъезде к Москве, на станции, что в селе Кунцево, путешественников ожидала нечаянная встреча. По давним легендам, сельцо Кунцево издревле слыло чертовым местом – церкви здесь сами собою уходили под землю, и выпь кричала с болот, и в земле находились татарские пушечные ядра, и даже чертовы пальцы. Яков и не ждал от подобного места никаких приятных сюрпризов.

На станции все вертелся возле них беззубый бледный парнишка, по всем статьям – разбойничий наводчик, и окидывал несчастного ювелира Фимку плотоядными взорами. Монах Трисмегист отбросил с головы капюшон, почесал привычным движением отрастающую шевелюру и все тем же – колючим, любопытным – взглядом смерил переминающегося возле их стола наводчика. И – просиял.

– Мотька, кошкина отрыжка! Вот ведь не ждал, не чаял!

Бледный щербатый Мотька вздрогнул, присмотрелся – и тоже узнал:

– Трисмегист, Ванюта! Здравствуй, брат! – и с размаху заключил монаха в объятия, не забывая при этом трясти его и охлопывать. – Какими судьбами?

Другой монах только голову повернул, но не шелохнулся на своем месте – видать, Мотька был ему незнаком.

– Странствуем, – потупился вроде как смущенно Трисмегист, оглаживая на груди – и рясу, и икону под нею, и кольчугу. – А ты, Мотька, все человекаев уловляешь? – спросил он шепотом, и Мотька в ответ произвел церемонный поклон, наподобие придворного:

– Промышляем. Охотимся. Для шкурки, а не для мясца охотник изловил песца...

– Одним песец, другим... – продолжил было за него Трисмегист и вдруг велел, прервав свою басню: – Проводите нас с ребятишками до околицы, а то как бы другие нас в дороге не хлопнули. Развелось народу в лесах, никакого порядка...

– Святое дело, – отозвался неожиданно галантный Мотька. – Только и ты не обессудь, напомни Виконту о скромных тружениках, что в лесу в ничтожестве обретаются.

– Как не поведать – о том, как вы нас в дороге от татей спасли. Ведь спасли же, верно, Мотенька? – и Трисмегист опять сам своей шутке рассмеялся.

Яков с интересом слушал этот престранный диалог и понимал, что вот только что избежали они очередной беды и обрели неожиданного союзника – в страшных кунцевских лесах. Фимка же, почуяв опасность, в уголке распахивал за щеки свои ювелирные сокровища – как обезьянка.

И Мотька не обманул – карета мчала до Москвы под невидимой охраной, и вдоль дороги все вздрагивали лесные ветви, и зоркий Яков различал среди ветвей разбойничьи шапки. А по ровному полю – летел за ними на гнедом скакуне сам Мотька, да как только показались первые домишки – пропал, будто растаял.

На въезде в Москву путников уже поджидали – карете заступили путь два монаха немонашеского вида, высоченные, толстенные и безмолвные, словно двое из ларца.

– Это за мною, – сказал Трисмегист, поманил за собой огромного своего спутника и был таков. Правда, на выходе повернулся к Якову и пообещал:

– Разыщу тебя в Москве, пошепчемся, – и только его и видели.

Фимка привычным жестом проверил свой пояс с драгоценностями – и удрученно застонал. Три кошелька из пяти были срезаны – аккуратно и незаметно.

– Ты же во рту прятал, – попытался утешить его Яков. – Ведь лучшее, наверно?

– Так проглотил, – вздохнул грустный Фимка. – Все лучшее – проглотил. Тряхнуло на кочке – и я их того...

– Это дело поправимое, – улыбнулся Яков. – Только про ямы сортирные теперь надолго забудь, заведи себе горшок.

– Я знаю, – расцвел Фимка смущенной улыбкой. – Такое со мною не в первый раз.



Яков Ван Геделе



Кучер отвязал для него из багажа докторский саквояж и дорожный тощий сидор. Яков закинул мешок за спину, взял саквояж в руку, инструменты весело брякнули внутри. И, словно в ответ на этот бряк, раздался отовсюду одновременный, дружный колокольный звон – церкви созывали паству к заутрене. Яков запрокинул голову – звонили со всех московских колоколенок, со всех сорока сороков, отрадно и согласно, на все лады – и тонко, и басовито, и с переливами... Ничего не изменилось в Москве со времен его детства – белый снег до самых крыш, копыя сосуль, сутулые деревянные домики, и на каждом углу – часовенка или церковка. И улицы не чищены, и прохожие пуганы, и тати зарятся из каждого закоулка – все как прежде было. Вороны, поднятые звоном с куполов, скандальной стаей кружили в небе и каркали – на непутевые головы. «На свою голову и каркаете», – подумал по-русски Яков, сам себе толком не веря.

Все по-прежнему осталось в Москве. Все – кроме него самого. Последний год чуть-чуть не переломил хребет молодому доктору. Сперва – неудача за неудачей, как будто ведьма нашептала. Скандал в Испании, с нарушением этикета, потом выдворение их обоих – из цесарской столицы. И болезнь его шевалье, долгая, смертная, начавшаяся в пути и закончившаяся в кенигсбергском госпитале. Патрон его, шевалье де Лион, болел и умер – у Якова на руках. Яков бессильно наблюдал, как рассыпается в прах, протекает сквозь пальцы его блистательный кавалер, и с ним вместе рассыпается и гибнет и его, Якова, блистательная карьера. В последний месяц Яков делал вещи наивные и бессмысленные, чтобы хоть как-нибудь спасти его – и пастора приводил, и знаменитого кенигсбергского знахаря.

– Это тофана, мальчик. От нее нет лекарства, – так сказали ему и пастор, и знахарь, и сам де Лион. Шевалье лежал на постели, иссохший и черный, как ноябрьский лист, и вся подушка была – в выпавших его волосах.

– Не прикасайся ко мне – даже поры мои ядовиты, – предупреждал он, когда Яков тянулся – стереть испарину, ртутью бежавшую по истончившейся серой коже.

Такова расплата за шпионское счастье. То самое, что – балы, гризетки, опасные связи. Яд аква тофана. Яков не знал, кто был убийца, подсыпавший яд, – а шевалье не выдал. Яд, без вкуса, цвета и запаха, как вода. Отравленный умирал в течение месяца или двух, в смертной тоске, в великой печали. И не было спасения.

Немногие владели секретом этого яда, столь немногие, что их и звали так – господа Тофана. По легенде, им нельзя было продавать свой секрет, иначе – позор и смерть. Катарина Десэ и две другие, итальянские Тофаны торговали смертельной водой – и окончили дни свои на костре и в тюрьме. Но яд можно было подарить или выменять – на ночь любви, например...

Яков так и не узнал, кто был их Тофана, их убийца, мужчина ли, женщина. Но понял вскоре, что многие полагают – что Тофана он сам, Яков Ван Геделе.

Он и прежде знал, какие слухи идут о них с шевалье. Дипломаты вообще распускали друг о друге сплетни – как завистливые монахини. Яков был на коротке со своим патроном и видел в нем друга, и даже отца, пусть и были они почти что ровесники. Шевалье де Лион многим хвастался своим личным хирургом – с восторгом, быть может, несколько неуместным. О том, как умен его Ван Геделе, и как образован, и сколь искусен. Многие видели в их близости

греховную связь, но это было глупой, бездарной ложью. Оба, и Ван Геделе, и де Лион, любили женщин, и даже порой с излишним вдохновением.

Де Лион умер – и молодой Ван Геделе сразу же сделался в Кенигсберге персоной нон грата. Ему ненавязчиво, но весьма и весьма отчетливо дали понять, что, по мнению света, виновник смерти шеваляе – он сам, ближайший друг, брат и врач. Двери гостиных захлопнулись перед носом – с унижительным треском. Яков запальчиво фыркнул и метнулся в Ченстохов – к юному пану, еще недавно желавшему его переманить. Пан даже не соизволил его принять. И шепот полз за спиной – Тофана...

Яков умел составлять яды и эликсиры – не зря он хвастался дорожному своему попутчику. Но тофану он, конечно же, приготовить не мог, и даже до конца не верил в этот яд, считал его легендой, переоцененной пустышкой. Имя «Тофана», быть может, льстило бы ему – при других обстоятельствах. Но сейчас это имя закрыло перед ним все пути, все двери.

И Яков возвратился в Москву – в город, где никто не знал его или с трудом мог вспомнить. Ведь дурное имя не потащится за ним через весь мир, на север, по снежной белой дороге? Яков думал начать здесь, в Москве, где никто не слышал о нем, свою новую жизнь и встретить нового, еще одного де Лиона – русского. Или же немца – их, говорят, предостаточно при русском дворе. А Европа – что ж, подождет. Слухи скоро забудутся, старые сплетни заменятся в головах людей новыми...

Яков легко шагал по снегу в рассветной мгле, и колокола переливались малиновым звоном – в такт бряцающим медицинским инструментам в его саквояже. Снег играл голубыми искрами, масляно бликовали в первых лучах церковные луковки – жизнь новая начиналась. И разве что вороны проклятые каркали – но на свои же головы, на свои...



Трижды благословенный



«Как похорошела Москва при новой государыне!» – воскликнул бы праздный путешественник, но не таков был Ивашка Трисмегист. «Гвардейцев в городе как грязи, и фонарей навтыкали – ночью в простоте и не пройдешь, и не поохотишься», – размышлял он, пробираясь по улицам к своей первой цели. В богатых кварталах и в самом деле появились фонари, полные горячего газа – для пущей красоты, порядка и, увы – против лихих людей. Проходя через рынок, заметил Трисмегист и агентов тайной полиции – их выдавала особая повадка. По одежде вроде люди как люди, но рожи – испытые и чем-то неуловимо друг с другом схожие, может, выражением – как у принимающихся собак.

Задворками дошел Иван к роскошному господскому дому, миновал конюшни и заснеженный английский сад и вышел к дверям черного хода. Сторож впустил его, не чинясь – Трисмегиста ждали.

– Дома хозяйка? – монах стряхнул с плеч снежинки и откинул на спину капюшон.

– Ее светлость только с прогулки, – нарядный дворецкий отодвинул прочь дубину-сторожа и впился пронзительным взглядом в гостя. – Пойдем, дружок, только потопай здесь сапогами – чтоб ковры господам не загадить.

– Я-то потопая, – легко согласился Трисмегист, – но в покои не пойду. Негоже рожу мою в покоях светить – увидит кто, и грош мне потом цена. Проводи меня, мил человек, до черной лестницы – и хозяйке передай, пусть туда ко мне выходит.

Дворецкий сделал большие глаза, но возражать не стал – указал гостю в сторону черной лестницы и бесшумно растворился в длинной анфиладе, ведущей в господские покои. Трисмегист поднялся по лестнице, присел на ступенечку и принялся беззаботно насвистывать.

– Разложила девка тряпки на полу, раскидала карты-крести по углам... – подпел за его спиной мелодичный голос ту самую грустную каторжную песенку, что свистал ряженный монах.

– Здравствуй, хозяйюшка! – Трисмегист вскочил со ступенек, повернулся и в пояс поклонился. – Вот и дошел я до вас, от самого Ченстохова – белыми своими ножками.

– Не свисти, – отозвалась хозяйюшка по-русски, но с немецким шипящим акцентом. Как же несозвучны были грубые эти слова с нежной и изысканной ее наружностью. Трисмегистова «хозяйка» была самая настоящая дама, высокая, тонкая, в бархатной, винного цвета амазонке – от самой модной в Москве портнихи, в перчатках – от парижского скорняка. Нет, не разряженная парвеню – хищное породистое лицо, и царственная осанка, и манера играть тонким стеклом говорили о том, что богатство и высокое положение для дамы дело привычное, если не наскучившее. Но – арестантская песенка, простецкая грубая речь...

– С пополнением вас, ваша светлость, – умильно проговорил Трисмегист. Талия дамы была чуть более округла, чем предполагала ее невесомая комплекция – красавица была в тяжести.

– Не твое дело, – огрызнулась «ваша светлость», и темные брови ее нахмурились – от этого нежное злое лицо сделалось еще прекраснее. – Ты привез тетушку? Покажи!

Трисмегист извлек из-за пазухи сверток, размотал – и выглянул темный печальный лик. Дама поставила ногу высоко на ступени – мелькнуло голенище драгоценного верхового сапожка, – взяла икону и утвердила на своем колене. Вгляделась, прищурившись:

– А похожа! Мастер, что ее писал, с тобой приехал?

– А надо было? – растерялся Трисмегист, – Я ж его сразу того, – он сделал красноречивый резкий жест. – Подумал, что так и условлено...

– Что ж, значит, не судьба, – смиренно согласилась дама. – А я хотела было у него Габриэля к себе в будуар заказать.

– Гавриила? Архангела? – переспросил монах. – С огненным мечом?

– Да какая теперь разница, – дама отставила икону с колена на ступени, сняла с пояса тугой кошелек. – Вот, пересчитай.

Иван пересчитал, сделал постное лицо:

– Прибавить бы надо, хозяйюшка. В дороге опасностей не счесть, пули свистели над головою...

– Так мы с тобою о таком и договаривались, – рассмеялась «хозяйюшка», вскинув темные брови. – Что будут они свистеть. Кольчугу тебе выдали – из древних лопухинских доспехов. Вернешь кольчугу-то?

– Не здесь же мне заголяться... – пробормотал Трисмегист с поддельным смущением, но дама осталась непреклонна:

– Окстись, я и не такое видала. Расчехляйся, не смотрю, – она зажмурилась и отворотилась к перильцам. Иван побарахтался в рясе и кое-как вытянул из-под одежды тонкую, нежно звенящую кольчугу:

– Принимайте, хозяйка. Видите, пулями вся почиркана...

Хозяйка повернулась, приняла из его рук кольчужку, изучила, сощурилась, белые царапины – следы от пуль:

– Вот хренов каравай... Я прибавлю, Ивашечка. Как на месте устроишься – сразу приду к тебе с прибавкой, герой мой. Ты нашел уже место, где вы с тетушкой остановитесь, или помощь моя нужна?

Судя по всему, дама почитала «тетушку», черную икону, живым существом – или так шутила.

– Спасибо, хозяйка, есть у меня часовенка одна на примете, из тех, нижних, – Трисмегист опустил глаза долу.

– Под землю, что ли? – уточнила дама.

Иван кивнул, спрятал за пазуху кошелек и принялся заворачивать икону обратно в рогожку.

– Вот ты с кем снюхался! – восхитилась дама, – Ай, молодечик! И не хлопнут меня у вас в катакомбах, Ивашечка? Всю такую богатую и беззащитную?

– Не беспокойтесь, хозяйка, – значительно отвечал Трисмегист, он уже спеленал икону и приготовился прощаться, – ни вам, ни другим господам, что пожелают в часовню наведаться, никто зла не причинит. Под землю люди не те, что в подворотнях – слово держат, а у меня с ними крепкий уговор. Приходите, не бойтесь. Как обустроюсь – дам знать и сам вашу светлость лично провожу.

– Что ж, прибегай за мною, как устроишься, – дама цапнула рукой в перчатке звенящую кольчугу и устремилась вверх по лестнице. – Ступай, Иван, спасибо за службу!

– А ручку, ручку-то облобызать? – подался было за ней Трисмегист, но сверху долетело до него нежнейшее:

– Обрыбишься!

Иван спустился к черному ходу, помахал растяпе-сторожу и пошел прочь по заснеженному белому саду. «Какой садик лохматый, совсем не барский», – думал монах о новомодном английском саде, заведенном англоманом Лопухиным, князем, хозяином дома и супругом прекрасной грубиянки. Английские сады только-только входили в моду и были в Москве экзоти-

кой и эпатажем, но князь Лопухин обожал – эпатаж. Как бы дорого ни приходилось за него расплачиваться.

С семейством князей Лопухиных Трисмегист познакомился девять лет назад, в Охотске. Они были ссыльные, он – арестант. Когда умер малолетний наследник, царевич Петр Петрович, – камергер Лопухин в церкви на отпевании ребенка имел дерзость острить, и даже хохотать. Эпатаж – как он есть, в полном великолепии, и все-все фраппированы... За тот превосходный эпатаж князюшка бит был батогами и сослан в Охотск, вместе с молодой женой и новорожденным сыном. Впрочем, ссылка не научила камергера уму – и в Охотске был он все тот же наглый, гоношистый, скандальный и глупый. Никто с ним толком не считался. А вот юная жена его...

Помнил Трисмегист их самую первую встречу – как вчера дело было.

Лопухинская дворня была под стать своему господину – скандалисты, пьяницы, а кое в чем и превзошли своего хозяина: оказались еще и ворищи знатные, тащили все, что под руку попадет, как сороки. Арестантам охотским подобное было вдвойне обидно – это волка ноги кормят, а собаку должен кормить хозяин. А тут псы смердячие разлакомились – на чужую добычу...

И, конечно же, настал неизбежный час расплаты – арестанты подстерегли обидчиков неподалеку от лопухинской избы, и вот-вот должно было свершиться возмездие. Сам князь Лопухин издалека, с крылечка, наблюдал, как охаживают дрынами его лакеев, да робел вступаться. Смотрел – так пастух с холма любителю на то, как волки дерут его стадо.

– Брысь! Разбежались к хренам! Попа к попе – кто дальше прыгнет! – молодая княгиня по рождению была немка и по-русски говорила так, что не каждый разберет. И по-русски она больше ругалась. Но доходчивости ее словам добавляло вскинутое – с несомненной сноровкой – охотничье ружье.

– Как скажешь, барыня, – арестанты побросали дрыны и медленно, чтоб не показывать бабе своего страха, вразвалочку побрели восвояси. Побитая дворня, охая, поползла к дому.

Княгиня опустила ружье и вдруг вслед арестантам крикнула по-немецки, и синие глаза ее вспыхнули:

– Эй, мизерабль! Ты – Борька Кольцов? Тетенькин егермайстер?

Трисмегист остановился, повернулся кругом, но отвечать не спешил. Когда-то давно, до ареста, был он и вправду Борька Кольцов, да только имя его на этапе стерлось, потерялось, растаяло как дым. Стал – Иваном. И был он, конечно, у бывшей матушки-царицы не егермайстер никакой, самый обычный егерь...

– Так ты – Кольцов, парень? Только здорово же похудел...

Трисмегист кивнул, набычившись, и чуть попятился, словно собирался сбежать. Княгиня взяла из-за пояса варежку, надела на красную зябнущую руку. Русский тулупчик на ней перевязан был так здорово – и двух княгинь можно было в него завернуть, такая уж тонкая была у этой дамы талия.

– Пойдем со мной, посмотришь, у этого ружья курок туго ходит. Я знаю, ты умеешь ружья чинить, а у меня дома – все дураки, – ласково попросила княгиня, все еще по-немецки. – Пойдем, Борька.

Борька выходил у нее по-немецки как Бурка.

– Только я теперь Иван, барыня, – поправил ее Трисмегист, и княгиня легко согласилась:

– Что ж, Иван так Иван.

Трисмегист потом уж и не удивлялся, как сочетаются в этой невероятной женщине аристократическая тонкость и звенящая, восхитительная вульгарность. Гибкая, как плеть, синеглазая принцесса, в пуховом платке и русском тулупе, она повелевала и распоряжалась, и все это – отборным матом пополам с трескучей немецкой руганью. Осанка герцогини, манеры

прачки. Молодая княгиня была напориста, и решительна, и умела себя поставить – даже бывалые арестанты внимали ей с почтением. И делали вид, что слушаются.

И была она – доверчива, добра и глупа. Это проступало чуть позже, когда морок слепящей ее красоты отпускал. Но Трисмегисту княгиня нравилась именно такую – сквернословящая богиня, игра природы. Он с удовольствием притворился, что служит ей – тем более сейчас, когда богатство и сила в полной мере вернулись к госпоже Лопухиной. И прежними остались разве что наивное ее сквернословие и магическая хищная красота.

На улице позади лопухинского дома к Трисмегисту присоединились прежние его провожатые – немонашеского вида монахи. Здоровяки шли за ним бесшумно и на вопрос «Где нынче вход, все там же?» – ничего не ответили, только одновременно пожали плечами.

За рынком стояла покосившаяся, темная от времени деревянная часовенка, возведенная на месте давнего кулачного боя. Иван улыбнулся часовенке, как старой знакомой:

– Здравствуй, матушка! Выходит, все у нас по-прежнему...

Провожатые на подходе к часовенке остановились, притопывая, среди сугробов. Трисмегист оглянулся на них и пошел дальше – в пахнувший ладаном сумрак. В часовне не было никого, горела перед образом последняя одинокая свечка. Иван перекрестился, подпалил от горящей свечи еще одну, потом взял из-за пояса то ли ломик, то ли отмычку – и оружие, и инструмент, – отошел в уголок, наклонился и подцепил на полу незаметную петлю. Открылся люк – Иван уселся на край его, спрыгнул вниз со свечой в руке, потом потянулся и закрыл люк за собою – снизу к петле привязана была веревка.

Пламя скудно озаряло каменные низкие своды – чтобы идти вперед, Трисмегисту приходилось наклонять голову. Подземный ход полого спускался вниз, огонек свечи дергался и плясал, освещая пятнистые стены с замерзшими водяными потеками. «Отгадывает по весне – и опять будет здесь у нас не катакомба, а водопровод», – озабочился одинокий путник.

Дорога повернула, потолки сделались повыше, в стенах появились крошечные зарешеченные окошки. Такие окошки означали, что дорога проходит под землей неподалеку от подвалов Лефортовского дворца, нынешней царской резиденции. Тот, к кому шел Трисмегист – господин по прозвищу Виконт, смотрящий за московскими татями, – предпочитал обитать неподалеку от действующей власти, держать, так сказать, руку на пульсе. Да и там, где золото – там всегда и золотоискатели.

Дорогу Ивану заступил было близнец тех двоих, оставшихся наверху, но узнал его и кивнул приветливо.

– Где батюшка, в кабинете? – спросил Трисмегист, и толстяк кивнул еще раз. Все охранники Виконта были как на подбор – высоченные, толстенные, без языка и неграмотные. Иван часто думал: такие они тупые, как кажутся, или придуриваются?

Иван свернул в проем перед очередной решеточкой и очутился в маленькой комнате. Здесь горел целый шандал, и за столом сидел человек – перед раскрытой бухгалтерской книгой.

– Вот ты, Иван, слышал прежде о монахе Луке Пачоли? – не поднимая от книги глаз, произнес человек задумчиво – говорил он размеренно и чисто, как грамотный. – Кабы не сей монашек, не было бы порядка в счетном деле. А так – лепота!

– Здравствуй, Виконт, – сказал Трисмегист. – Что, счетовода нового завел?

– Заведешь тут, веры нет никому, – Виконт поднял голову от книги. – Сам считаю. А Лука этот – он способ придумал, как доход с расходом ловко свести.

Виконт одет был по-русски, но выбрит гладко, по немецкому обычаю. Длинные волосы его, сивые и жидкие, расчесаны были на пробор, как у попа. Черты лица – острые и резкие, в углах рта лежали темные волевые складки, а зеленые глаза зато – добрые-добрые, в лучиках морщин – потому, наверное, что душегубец знатный был тот Виконт, и один из первых московских татей.

– Я задаток принес за часовню, – Трисмегист подбросил в ладони тугой княгинин кошелек. – Только вот что: господа ведь не полезут в часовню через люк, как я. Зады замарают.

– Это не беда. У меня для господ проделан отдельный вход, из палат арестованного Дрыкина, помнишь такого злодея-купца? Палаты дрыкинские опечатаны стоят, но при желании войти всегда можно. И вход там хороший, даже головы наклонять почти не нужно. Я тебя проведу через него – увидишь.

– Так пойдем смотреть владения, батюшка, – Трисмегист положил кошелек на стол. В руки давать – дурная примета.

Виконт раскрыл кошель, пересчитал и вдруг широко улыбнулся:

– Самое дорогое – глупость человеческая. Ведь верно, Трисмегист?

Зубы у Виконта были господские – очень ровные, но землистого цвета, вставленные от покойников. Иван засмотрелся на эти вставные зубы, потом опомнился, кивнул.

– Что ж, пойдем смотреть.

Виконт спрятал кошель и вышел из-за стола. Носил он мягкие купеческие сапожки, бархатные, расшитые бисерным узором, на бесшумном ходу. Виконт взял шандал, поманил гостя за собою и пошел по коридору, ступая крадучись, пластичный и гибкий, как рысь. Иван следовал за ним, и безмолвный охранник, конечно же, тоже. Миновали коридоры, переходы, лесенку – Виконт открыл ключом дубовую дверь, и голос его отозвался гулким эхом в стрельчатых сводах:

– Вот, принимай хоромы. Выход – через дрыкинский дом, друг мой тебя проводит. – У виконтовых охранников не было имен, все они были – «друг мой».

Трисмегист поднял голову, огляделся – подземная часовня оказалась именно такая, как надо. Для охмурения золотых гостей. Темные древние арки, с которых свисали сосули – то ли каменные, то ли ледяные.

– Комнатка есть, чтобы спать, только топить в ней нельзя – угоришь. Тут тяга так себе, – пояснил Виконт.

Трисмегист извлек из-за пазухи икону, распеленал, поставил на каменный аналой, рядом установил свою оплывшую свечу и перекрестился. Охранник перекрестился тоже, а Виконт – не стал и в ответ на удивленный взгляд проговорил весело:

– Я агностик. Как философ и воин Рене Декарт – слышал небось о таком?

– Не-а, про Рене Анжуйского зато слышал, и про Рене Паткуля, и про Рене Левенвольда.

– Для тебя и сих трех довольно, – благодушно отозвался Виконт.

– Эта часовня – из тех, что под землю ушли, вроде кунцевских? – любопытствовал любознательный Трисмегист.

– Вот уж не знаю – я в Москве всего десять лет, а прежде Сибирь покорял, превращал большие камни в маленькие. Принимай владения. Как тебе обнова – пойдет? Тебе – и мадонне твоей?

– Пойдет, – согласился Трисмегист. – Только это не мадонна, это matka бозка Ченстоховска.

– Будь у меня побольше времени, я прочел бы тебе длинную лекцию, – улыбнулся Виконт своей покойницей землистой улыбкой. – И о черных мадоннах, вроде твоей, и о госпоже Эрзули Дантор, и о японской Черной Каннон. Но во дворце вот-вот начнут разгружать мрамор для ремонта лестниц, и в моих интересах – не пропустить сей сказочный шанс. Новый оберкамергер пыжится своей бдительностью и во все вникает – я просто обязан переиграть его на его же поле. Поэтому – жду тебя с остатком моих денег, Трисмегист, и прощай до поры. Мой друг проводит тебя на выход – увидишь, как легка дорога.

И Виконт удалился – беззвучно, словно растаял. Шандал он забрал с собой, и теперь в свете единственной свечи часовня выглядела самым таинственным местом на свете.

От иконы пришлось забрать свечу – Иван мысленно извинился за это перед матушкой Еленой, – и безмолвный «друг мой» проводил гостя на свет божий. Дорога наверх и в самом деле оказалась почти целой каменной лестницей, просторной и гулкой, и вывела во флигель старого купеческого дома. В этом пустом, разграбленном доме Иван и простился со своим провожатым. Он не помнил, за что казнен был хозяин дома Дрыкин, но подозревал – по делу вроде его собственного, по которому Борька Кольцов загремел в Охотск, превратившись безвозвратно в Трисмегиста.

Третья и последняя цель Ивана Трисмегиста расположена была совсем неподалеку от дома бедняги Дрыкина. Это был господский почти что дворец, большой и богатый, но даже с улицы было видно, что порядка в нем нет – не чета был этот темный раздрызганный дом игрушечной английской шкатулке господ Лопухиных.

Иван пошел, конечно же, через задний двор – не желал светить лицом у парадного входа. Как-никак миссия его была секретная.

На заднем дворе как будто ревился сумасшедший гигантский ребенок – были разбросаны санные полозья, хомута, вилы – еще с того лета, и цветочные арки – с прошедшего семейного торжества... Трисмегист бочком пробрался среди всей этой роскоши, постучал в черную дверь – с которой ключьями лезла краска:

– Дома хозяин?

Лакей не узнал его, да и не должен был – он кликнул дворецкого, и вот дворецкому и предъявил Иван свой пароль. Достал из-за пазухи перстень с кровавым камнем. Ни за что бы Трисмегист не стал носить подобный перстень на руке – такие камни носят разве что содомиты-говномесы, но никак не честные бывшие арестанты. Дворецкий перстень признал, проговорил вполголоса:

– Дома барин, пойдем потихонечку.

Трисмегист обстучал от снега сапоги и устремился вслед за провожатым. В доме было не больше порядка, чем на дворе – вещи как будто толпились в коридорах и напирали друг на друга, сундуки, и статуи, и горшки с цветами, и драгоценные венецианские кресла.

– У вас что, ремонт в доме? – спросил в недоумении Трисмегист, и дворецкий отвечал – с экстагическим отчаянием:

– У нас так всегда. Скромный образ жизни – высокий образ мыслей, это хозяин так говорит...

Иван возразил было, что это не скромный образ жизни, а хламной и безобразный, но вовремя прикусил язык – они пришли.

Андрей Иванович Остерман – русский Андрей получился у него из Генриха, или из французского Анри, – считался при дворе главным умницей. А дома – главным неряхой. Он сидел за столом в своем кабинете, точно так же, как недавно сидел у себя в подземной конторе Виконт. Но в Остермановом кабинете словно смерч пронесся – на столе возвышалась ваза с турбулентно разбросанными яблочными огрызками и очистками, свисавшими с вазы гроздьями и валявшимися по столу, словно жертвы тайфуна, по креслам разметались брошенные хаотически рубашки и кальсоны, по углам стояли вповалку тюки неизвестно с чем и лежали кошачьи заскребыши.

Андрей Иванович, как и Виконт, с увлечением листал книгу, и казался звездой, невесть как упавшей с небес в се замусоренное болото. Красивый господин с маленьким круглым носиком, с короткой верхней губой и каштановыми влажными глазами, граф Остерман носил моднейший белокурый парик, и с расшитым золотом парадным кафтаном не успел еще расстаться, видно, недавно прибыл с придворной службы.

– Иван – без – фамилии, – представил Трисмегиста церемонный дворецкий и тут же ретировался.

– Разве ты у нас – совсем без фамилии? – удивился Андрей Иванович и отодвинул свою книгу. – Ты же был демон библейский?

Он говорил по-русски – вкрадчиво, чисто, разве что с нежным пришепетыванием, словно заговор читал.

– Трисмегист – не демон библейский, высокая милость, – обиделся Иван. – Правда, и не фамилия. Означает – трижды благословенный.

– Тебя обманули, мой друг, – тонко улыбнулся господин Остерман, – Трисмегист отнюдь не значит «трижды благословенный», скорее – «трижды величайший», по-латыни же Mercurius ter Maximus, покровитель магов и проводник между мирами. И я верю, что ты, друг мой Иван, достоин своего имени вполне. Чем же ты изволишь меня порадовать?

– Все готово, ваша милость, осталось лишь врата открыть и запускать желающих, – важно отвечал ему польщенный Иван. – А в желающих недостатка не будет. Одна синеглазая госпожа обещала расстараться.

– Нати любит подобные вещи, – улыбка стала совсем змеиной. – Тайные часовни, черные богини... Я верю – и в тебя, и в нее – от прихожан не будет отбоя. У черной твоей матки бозки...

Нарядный господин поднялся из-за стола – зашуршали позументы и кружева, – подошел к темному, заставленному хламом комоду и снял с него серебряный ящичек с прорезью сверху, как для писем.

– Это дополнение к твоему аттракциону, – Андрей Иванович протянул ящик своему собеседнику, и Трисмегист обратил внимание, как красивы его руки – белые, с тонкими пальцами, как у девушки. – Матка бозка станет исполнять желания, а ты – станешь собирать желания в этот ларец. Научи прихожан, что следует писать свои мечты на листочек и опускать в сей ящичек. А потом, каждое утро, ты возьмешь привычку бывать у меня с этим ларцом и рассказывать, кто и о чем просил. Это должно быть забавно...

– Для чего вам? – воскликнул, не стерпев, Трисмегист.

– Увы, твой скромный наниматель не обладает ресурсами Тайной канцелярии и своего почтеннейшего тезки Ушакова... Мы не можем пытать людей. Но мы можем узнавать их настроения иначе. Иногда это полезно – на заре нового царствования, столь дорого нам стоившего.

Иван понадеялся, что понял его – Остерман говорил так, словно читал нараспев какую-то книгу. Иван следил, как красавец-граф, шелестя позументами, словно древо изобилия золотыми листьями, возвращается за стол.

– Получи же свой гонорар, – Остерман извлек из ящика стола кошелек и положил поверх раскрытой книги. – А каждый твой утренний визит будет стоить один яхимсталер. Я думаю, это справедливая цена за украденный утренний сон...

– По рукам, ваша милость. – Иван пристроил ларчик под мышку и цапнул с книги кошель. – До скорого свидания.

– Надеюсь, до самого скорого, – красавец-граф запустил изящную ручку под кудрявый парик, почесался и внезапно, словно фокусник, вытянул из уха длинную, желтоватую корпиевую турунду. – Береги себя.

Эта внезапная турунда странным образом произвела на Трисмегиста ободряющее действие – словно у него неожиданно сошелся долгий и сложный пасьянс.



Иван Трисмегист



Иван поставил на аналой икону, окружил загадочно разновысокими свечными огарками, отошел, полюбовался – ну вот, красота. Публика будет в несомненном восторге. Жизнь научила Трисмегиста здоровому цинизму, в бога он, конечно же, веровал, но то, чем предстояло ему заниматься – считал представлением, в некотором роде театром. Попы вон тоже веруют, а деньги за свечи и за отпевание – дерут, а чем мы не рысаки?

Идея с тайным храмом черной богородицы принадлежала графу Остерману, еще большему цинику, чем сам Трисмегист (и ведь тоже – в бога верующему), а идея написать богородицу с царицы Авдотьи – выдумщице и озорнице Нати Лопухиной, которой жгло самолюбие ее столь близкое родство с порфиросной вдовой. Хотелось ей, чтобы и весь свет узнал.

Остерман был тот самый человек, что когда-то извлек Лопухиных, а заодно и Трисмегиста, невольно, – из охотской ссылки. За Лопухиных просил Остермана некто Рене Левенвольд, давний амант прекрасной княгини. Зря говорят, что нет при дворе привязанностей долгих и прочных... Могущественный граф сделал другу одолжение – вернул из ссылки и князей, и, за компанию – слугу их, Ивашку Трисмегиста.

Иван от усердия даже подмел в часовне, и на полу проступили каменные плиты, некоторые – с неразборчивыми греческими надписями, как будто надгробные. Нужно выспросить у Виконта, кто здесь лежит. Сам Трисмегист по-гречески читать, конечно, не умел. Вдруг окажется, что под плитой – мученик режима очередной, вроде регентши Софьи. Тогда и могилку можно будет как-нибудь применить в его предприятии...

Икона смотрела на Трисмегиста с аналая – прекрасными газельими глазами, выписанными по греческому канону. Черна и прекрасна... Говорят, сама Авдотья давно уже не так хороша – состарилась, согнулась почти вдвое, старушка совсем. Трисмегист все собирался навестить прежнюю хозяйку, и все не решался – страшно было. Страшно, что она его не узнает, и страшно, что сам он не узнает свою царицу – постаревшую и поблекшую, и окажется она ничуть не похожей на прельстительную черную богиню.

В последний раз Иван – тогда еще Борька – видел хозяйку на площади, во время казни поручика Глебова. Сам Глебов пребывал, как и положено ему, на колу, Борьку со товарищи – лупили батогами, а хозяйка – смотрела на них. Солдат держал ее голову, не давал отвернуться, а у нее уж и глаза закатывались. Вот тогда она была – в точности такая, как на иконе, и даже лицо было черным – от пыли вперемешку со слезами и от горя. Борька все глядел на нее и глядел, сквозь кровавый туман бесконечных своих батогов, а она – все глядела и глядела, но на другого...

В остроге не потому он забыл свое имя, что хотел оставить позади прошлую жизнь. Прошлое дорого ему было, он желал помнить – и царицу свою, и беднягу Глебова, и невезучих товарищей. Забыл не от страха, растерянности и горя – хотя многие именно из-за перемены участи, утраты земли из-под ног, полной смены декораций теряли себя, в испуге и ошеломлении, откликались бог знает на что. Трисмегист был не из таких, он, как только спина поджила, и сам зажил дальше. Просто как-то враз приклеилось к нему это новое погоняло – Трисмегист, еще в первом пересыльном остроге. Один чахоточный шулер в шутку назвал его так – и все, как прилипло.

Трисмегист – потому что ловко наладил «дороги», острожную почту. Когда-то он письма сердечные передавал, от Глебова к царице, а потом, точно так же, в остроге, по воздуху, «из решки в решку», то бишь из окна в окно – перебрасывал на ниточках тюремные «малявы». Писемщик Трисмегист. Шулер-крестный помер скоро, а прозвище – осталось.

А Иван – так все они там были Иваны...

Трисмегист полюбовался на убранство часовни – в последний раз, задул свечи и с последней оставшейся свечой – пошел вверх. Вот кто ты был, казненный бунтовщик Дрыкин? Софьин сподвижник, или царевича Алексея, или битого батогами Шафирова? Или сам по себе такой дурак? Вот бог весть...

Иван затопил в задних комнатах печку – чтобы дым не виден был над парадным входом, придвинул матрас поближе к огню, устроился поудобнее и размечтался. Завтра проводит он в гости к «тетушке» прекрасную княгиню Наталью, а та уж раззвонит среди подружек и кавалеров – про черную икону, исполняющую любые желания. Пойдет к богородице народ, Иван станет собирать толику малую – на храм, да и сам внакладе не останется...

Понять бы еще, зачем понадобился сей спектакль графу Остерману, но господин сей столь заумен и сложен, и не Ивашкиному уму его постичь...

Трисмегист надвинул капюшон на глаза и задремал, и снилось ему, что он пастырь, пасущий тучные безмозглые стада...



Дядя и племянник



Когда Яков Ван Геделе заходил во двор дядиного дома, где-то вдали отчетливо и резко пропел петух, и Яков решил, что это, несомненно, добрый знак. И над крыльцом бидловского дома играл в солнечном свете медный веселый петушок... Яков улыбнулся ему, поправил на плече мешок с нехитрым своим скарбом и смело шагнул на ступени.

– Отец в госпитале, на службе, – поведал холеный Петер Бидлоу, дядин сыночек, за прошедшие годы полностью превратившийся в русского Петрушу. Яков помнил Петера еще совсем зеленой соплей, а теперь видел перед собой вполне оформившегося молодого кавалера, правда, заспанного, в халате и с похмелья. В меру упитанный кудрявый Петер был веретенообразен и прекрасен собою, длинные волосы юного птимэтра удерживала ночная парикмахерская сетка, и утреннее солнце насквозь просвечивало сквозь его тонкие оттопыренные уши.

– Позволь хоть вещи бросить, – кивнул Яков на свою поклажу, и Петер тут же помог снять ее с плеча и заключил кузена в запоздалые объятия:

– Оставляй, конечно. Как папи доложишься – возвращайся, отметим...

– А у тебя разве нет службы? – удивился Яков. Дядюшка с гордостью писал ему, и не раз, что сынишка Петер работает в госпитале наравне с маститыми докторами.

– Я болен, – томно отмахнулся кузен. – Но нет, не для тебя! С тобою я выйду. Покажу тебе, какова стала Москва...

– Ладно, Сен-Пьер, держатель ключей от рая... Я вернусь к тебе, как только нанесу визит своему благодетелю.

Яков легко сбежал с высоких ступенек, обернулся на прощание – петушок над крыльцом все так же играл на солнце. Дом у дядюшки был такой – лучше и желать нельзя. Коттедж в голландском стиле, темного дерева, в окружении сложносочиненного собственного сада. Неплохой трамплин – чтобы прыгнуть с него еще выше... Петер-Петруша толково и доходчиво рассказал ему, как добраться до госпиталя – через сад, мимо пруда и потом через рынок.

Яков стремительно шагал по утоптанному снегу – европейская его одежда слишком уж легка была для русской зимы, – и с любопытством оглядывал улицы, изменившиеся чрезвычайно. По-прежнему – нищие сидели вдоль стен, и сновал по своим делам разношерстный народ, и кареты проносились, бездумно цепляя прохожих оглоблями, не чуя габаритов своих на узких улочках... Но прибавилось и кое-что, чего прежде не было в Москве – люди в темной одежде, с неприметными, словно пеплом присыпанными испитыми лицами: они бродили среди прохожих, и внимательно вслушивались, и вглядывались, и принимались. Яков не знал, кто эти новые герои, но решил, что потом непременно выпросит о них у Петруши.

Румяный старичок-санитар проводил Якова в кабинет профессора Клауса – Николая Ламбертовича Бидлоу. Профессор был на месте и даже один в кабинете, Якову не пришлось мучительно ожидать аудиенции. Со шляпой в руке влетел он в профессорский кабинет, словно подхваченный воздушным потоком, – и дядя вышел к нему из-за стола, и заключил в объятия порывистого замерзшего родственника:

– Сколько лет, Яси... Как же долго водила тебя твоя блуждающая планета...

Дядюшка и постарел, и растолстел, но не утратил гордой осанки и сходства с хищной птицей. Яков Ван Геделе был сыном его сестры, покойной Христины, Ван Геделе по мужу. Яков

отбыл на учебу в Лейден сразу после смерти матери, а отец его умер годом раньше – именно на скромное отцовское наследство Яков и вкушал плоды просвещения.

– Петра видел дома, – поделился Яков. – Такой он стал кавалер...

– Стал кавалер, а должен был – стать хирургом! Петр недурной анатом, но губит молодость в развеселых компаниях, – посетовал горько профессор.

– Все были молоды, – примирительно отвечал ему племянник. – Мне, правда, удавалось в последние годы совмещать практику хирурга и галантные радости, но это скорее исключение из правил. И закончилось все весьма печально...

– Соболезную тебе – как понял я из последних писем, ты потерял не только покровителя, но и друга.

– Увы, – вздохнул Яков и подумал: «И возможно – утратил доброе имя...»

– Что же ты намерен делать? Не стану скрывать, мне необходим помощник в моем госпитале – и хирург, и анатом, и учитель, но я знаю тебя, Яси. Навыки твои, приобретенные с покойным де Лионом, вряд ли сгодятся для московского госпиталя. Не те навыки у тебя, да и не те цели...

– Я хорошая повитуха, – светло улыбнулся Яков, прищурился светлые глаза. – Я даже привез с собою акушерские щипцы.

– И скольких ты ими уже раздавил?

– Младенцев? Всего одного, три года назад, в Ревеле, – признался чуть смущенно молодой акушер. – Но там был запущенный сифилис, и костей-то не осталось толком... Остальные же роды были удачными – все пять. Правда, дядя.

– Акушерка моя болеет, я рад буду, если ты со своими щипцами ее подменишь. – За окнами послышался звон колоколов и ржание коней – верно, роскошный экипаж пожаловал во двор госпиталя. Профессор подошел к окну посмотреть и проговорил лукаво:

– Ты же, Яси, не видишь место акушерки – венцом своей карьеры? Чего ты вправду желаешь – от Москвы, от жизни? Да и от меня?

– Я хотел бы подыскать замену почившему моему де Лиону, – честно признался Яков, – мое призвание – личный хирург благородного кавалера. Если бы ты помог мне найти такого человека в Москве – какого-нибудь в меру болезненного придворного интригана...

– Вот один такой, – перебил его Бидлоу, кивая на окно. – Через минуту будет тут. Молод, умен, образован по-европейски, божественно прекрасен, отмечен вниманием высочайшей особы... И – увы – доверчив, завистлив и, что парадоксально – глуп...

– К вам барон... – в дверь просунулся санитар, увидел Якова и оттого фамилию барона благоразумно проглотил. – Рвется неистово...

– Зайди в смотровую и послушай, – профессор указал Якову на белую застекленную дверь. – Можешь и подглядывать, если желаешь посмеяться. Визиты сей особы – всегда феерия. А ты – приглашай барона, – кивнул он санитару. – Нижайше проси.

Яков вовремя успел отступить за дверь смотровой. Окутанный тайной и морозным духом барон ворвался в профессорский кабинет – и длинный плащ летел за ним, как хвост дракона. Яков с любопытством следил сквозь стеклянную дверь, чуть сдвинув в сторону полотняный занавес – что же там за барон? Дядя так аттестовал его, словно лакомую конфету.

Он и в самом деле был конфета, этот загадочный индивид. Одет дорого и с немалым вкусом – что само по себе драгоценная редкость для Москвы. Длинные волосы темно-русыми локонами лежали на плечах и блестели при этом, как зеркало. Барон был высок и строен, с большими фаянсовыми глазами и продолговатым розовым лицом в бархатных родинках, с припухлыми губами и высокомерным остзейским прикусом. «Кто же это?» – тшился угадать Яков, припоминая галантов высочайшей особы. Бюрен? Корф? Левенвольд?..

– О, гран профессоре! – гость подлетел к профессору и навис над ним – со всей высоты своего роста, он был длинный и тонкий, как молодая лоза.

– Всегда рад видеть вас, барон, – отозвался доктор Бидлоу. – Что привело сегодня в нашу скромную обитель – покровителя наук и благосклонного мецената?

Благосклонный меценат словно ждал этого вопроса, он склонился над профессорским ухом и зашептал так страстно и громко, что даже Яков разобрал слова: «wachs» – воск, и «bälle» – шары. От этих шаров профессор отшатнулся и отвечал вполголоса, с трудом сдерживая – то ли гнев, то ли смех:

– Вы же образованный человек, барон, и жертвовали нашей библиотеке собственные медицинские книги – неужели совсем не читая?

– Я прочел все книги, которыми имел честь владеть, – красиво зарделся барон и величественно откинул со лба зеркально-русую прядь. Бидлоу положил руку ему на плечо, заглянул в его круглые небесные глаза и проговорил задушевно:

– Ваши смелые желания вас погубят. Могут и убить. Как раз сейчас пожаловал на перевязку кулачный боец, имевший неосторожность вживить под кожу – всего лишь под кожу правой руки, барон, она у него ударная – все эти опасные излишества, и шарики, и воск. Я велю привести его к вам. Увидите наглядно, что бы вас ожидало. Михаил!

В дверь просунулась голова санитара.

– Михаил, пригласи к нам Рамильку.

Санитар убежал – в коридоре послышался его топот.

Барон тряхнул локонами и промолвил с отчаянием:

– Курсируют слухи... – он замялся. – О том, что конкурент мой – я не желаю его называть, но вы, профессор, конечно же, поняли, о ком я, – уже подверг себя подобной процедуре, и успешно. Мне рассказывали, что в восточнопрусской тюрьме, где он отбывал свое заключение, такие операции в порядке вещей, и узники покидают узилище весьма... хм, обогащенными.

– А через пару недель их настигают антонов огонь и гангрена, – продолжил мрачно Бидлоу. – А слухи ваш конкурент сам и распускает. Имел честь его осматривать – все у него как у всех.

Барон от этих слов расцвел, на лице его так и читалось: «Неужто правда сие?»

– Рамилька! – провозгласили за дверью, и санитар втолкнул в кабинет смущенного детину, стриженного ежиком. Правый детинин кулак был неплотно забинтован.

– Рамиль, попрошу вашу ручку, – профессор размотал повязку, и даже до Якова в его смотровой шибанул гнилой дух. – Вот, барон, на что вы желали себя обречь. И у Рамильки – всего лишь рука, а вы покушались на сокровенное...

Барон прекратил цвести, позеленел и пошатнулся. Вероятно, его обширные познания в науках были лишь теоретическими.

– Михаил, нашатырь! – недолго думая, приказал профессор и подтолкнул Рамильку к выходу. – Спасибо, друг мой, ты свободен. Внизу тебя перевяжут.

Подоспел Михаил со зловонной тряпкой, барон вдохнул нашатыря и вновь порозовел – он был человек молодой и здоровый.

– Я, пожалуй, поеду, профессор, – сказал он задушенным голосом. – Благодарю за консультацию. Вы мой ангел-хранитель, уже в который раз ловите меня – на краю пропасти.

– Всегда рад служить, – поклонился Бидлоу.

– Я имел смелость заказать в Женеве книги для медицинской библиотеки, не откажите принять, – барон мило улыбнулся, показав сахарные зубы.

– Премного благодарю – и за себя, и за студентов, – профессор проводил гостя до порога.

Когда хвост плаща прошуршал по коридору, перемежаясь с горохом шагов провожающего-санитара, доктор Бидлоу наконец дал волю смеху:

– Выходи же, Яси! Как тебе превосходный меценат? И это еще не худший экземпляр, поверь. Он хотя бы читает.

– Кто это был? – Яков вышел из смотровой и с любопытством следил в окно, как прекрасный барон усаживается в свою великолепную карету. – Сам знаменитый Бюрен?

– Барон Корф, – аттестовал гостя профессор, он подошел и тоже смотрел, как отъезжает карета. – Знаменитый обер-камергер Бюрен – как раз его конкурент. Еще дурнее, чем этот... Они друг друга терпеть не могут, и увы – все идет к тому, что в их схватке победит дикость. То есть обер-камергер.

– Бюрен? А почему?

Доктор Бидлоу пожал плечами:

– Я имел счастье осматривать их обоих. И чутье мне подсказывает... Барон же не зря прибежал – знает, где его слабое место в этом конкурсе. Впрочем, я уже говорил: барон создание до ужаса завидущее. У графа Левенвольда – это еще один галант, если ты не знаешь, – такой мужественный шрам на подбородке, после дуэли на шпагах. Очень ему идет. Так наш барончик потребовал от меня изобразить на его личике точно такой же шрам, но без дуэли, хирургическими средствами. Еле его отговорил...

– И напрасно, – хихикнул Яков, – ходил бы полосатый...

– Все бы смеялись, а я этого не желаю, – пояснил профессор. – Барон – покровитель наук и много жертвует госпиталю. Он друг мне, пусть и несколько бестолковый. Если хочешь – могу порекомендовать тебя его милости, но имей в виду: скоро красавец-меценат отправлен будет куда подальше, с монарших глаз долой. Кое-кто спит и видит его удаление.

– А этот кое-кто – сам не хочет ли обзавестись личным хирургом? – закинул удочку Яков, всегда выбиравший сторону победителя.

– У него есть уже, и препоганейший. Хотя Бюрен здоров как бык, у него ни шанса – узнать, что врач его шарлатан. Впрочем, завтра мне придется потратить день в Лефортово, и вы с Петром сможете составить мне компанию, я попрошу у гофмаршала пропуска для вас.

– А что там будет? – воскликнул окрыленно Яков. Лефортовский дворец был резиденцией русских царей, и Яков отлично об этом помнил.

– Катание с горки, надеюсь, последнее в этом году. Во время прошлых катаний расшибились головы и ломались ноги – поэтому мне и приказано дежурить. Отказать не имею права, но помощников привести могу, все же годы мои уже не те. А тебе это будет полезно – вдруг приглянешься кому.

– Спасибо вам, дядюшка! – Яков потянулся было поцеловать руку, но старик тут же руку отдернул:

– Вот еще! Прибереги поцелуи для завтрашних твоих жертв. Многие из них совсем не прочь, чтобы их руки целовал такой красавец. Признаться, мне до черта наскучила эта дворцовая морока, эти веселящиеся бездельники, калечащие друг друга ради забавы. А впереди лето – охоты, простреленные зады, пробоины от оленьих рогов... Жаль времени на подобную ерунду, стар уже, хочется и труд мой о хирургии гнойной дописать, и студентов поучить – а не дают.

– А мне по душе такое... – мечтательно отозвался Яков.

– На ловца и зверь бежит, – улыбнулся профессор. – Я заболтался с тобой, у меня лекция через час. Ступай домой, выпись с дороги, послушай Петькины сплетенки – а я тебя выгоняю. Вечером только напомни мне – про гофмаршала и пропуска во дворец.

– О да, дядя! – воскликнул Яков и полетел из кабинета прочь – опять словно подхваченный вихрем, легкий, стремительный, как будто и не было перед этим у него долгой, полной опасностей дороги.

В дядином доме Яков собрался было прилечь и поспать в отведенной гостю комнате, но волнение и предвкушение завтрашнего явления ко двору не давали ему покоя. Молодой человек попросил подать теплой воды, и только успел завершить омовение – в дверь нетерпеливо

заскреблись, и тут же в комнату вдвинулся изнывающий от безделья Петер. Круглое розовое лицо его горело от любопытства.

– Так и знал, что ты не спишь, – сказал он довольно, наблюдая за тем, как гость с воодушевлением растирается жестким полотенцем. – Пойдем же, проветримся. Есть одно место, где я обычно играю – там можно встретить даже принца. В маске, конечно же...

– Меня не пустят в такое место в дорожной одежде, – засомневался Яков. – А другой у меня пока нет. И завтра дядя повезет нас в Лефортово, а мне, как барышне купеческой, нечего надеть.

– Не беда, одолжишься у меня. Фройляйн Арбуэ ушьет мое придворное в талии – и будет тебе в самый раз. Фройляйн Арбуэ – это наша экономка. А сейчас отдам тебе то, из чего за год вырос – я здорово пополнел с тех пор, как кончил учиться. Уж не знаю, чем одно с другим связано... Правда, возможно, мои прежние наряды вышли из моды, и ты, брат, побрезгуешь – ты же видел, как одеваются в Европе.

– Вот еще, наряжаться по моде в игорный дом! – рассмеялся Яков. – Тащи свои обноски, они все лучше будут – наряда, пробитого разбойничьими пулями.

– С тобою было в пути и такое? – спросил завистливо Петер, устремился к висящему на распялке плащу, обнаружил в нем дырку и с восторгом просунул в нее палец. – А мы тут киснем...

– Я расскажу тебе про своих дорожных разбойников, а ты мне – про ваших, московских, я слышал уже от дяди, что их понаехало в столицу предостаточно. – Яков отложил полотенце и просунул голову в ворот рубашки.

Петер убежал и минут через десять вернулся с обещанными «обносками» – вполне добротными и даже кокетливыми. Яков примерил – даже самые «худые» Петеровы наряды были для него широковаты в талии.

– Как не холодно им – с голыми задами на снегу? – риторически спрашивал Петер, когда шли они по рынку, минуя сидящих прямо в сугробах городских попрошаек.

Московские клошары были изукрашены язвами – по большей части нарисованными или из теста, но кое-где наметанный медицинский глаз Якова различил и настоящие струпья. Лохмотья подобно кружеву – не скрывали, а скорее демонстрировали малоаппетитные костистые тела, синие от холода. Март шел к концу, но морозы стояли – как в январе, на Крещение.

– Мой прежний хозяин, месье де Лион, рассказывал, что на Востоке, в городе Бухаре – вот так же сидят на базаре бухарские бабаи, – припомнил Яков. – Только не на морозе, а на палящей жаре, но столь же невозмутимо и неподвижно. И даже когда между ними упало ядро – они и головы не повернули, смотрели стеклянно и дымили своими трубками. Ваши бабаи так же невозмутимы?

– Эти – разбежались бы, – предположил разумный Петер, – нищие в Москве трусливые и скандальные. Вот пойдешь мимо них – много интересного о себе узнаешь. Особенно если ничего им не дашь.

– Р-разойдись! – раздалось позади, и молодые люди едва успели отступить. Из-за угла вывернули нарядные быстрые санки – в сопровождении двух всадников и полудюжины скороходов. Запрет на стремительную езду был писан явно не для этого экипажа – дышлом чуть не пришибло зазевавшуюся бабу, а неуклюжие скороходы потоптали слегка одинокого коробейника. Москва, увы, не тот город, где может развернуться пышный эскорт...

Любопытный Яков привстал на цыпочки и заглянул в окошко кареты и увидел два римских профиля, мужской и женский, красивые и отчетливые, словно античная парная гемма. Даже в темноте экипажа отлично читались – надменность, но при этом и некоторая растерянность обоих пассажиров. Яков вопросительно глянул на Петрушу, и тот прошептал ему на ухо:

– Фон Бюрены, муж с женою. Супруги – сам знаешь чьи...

Яков только собрался переспросить про супругов – чьи они, он догадался, но не понимал – что же, неужели оба-два? Но тут карета поравнялась с конгломератом московских клошаров и то ли задела их, то ли просто разозлила небывалой роскошью – один из нищих поднялся со снега и прокричал вслед удаляющемуся кортежу прочувствованное долгое проклятие. Спич сопровождался страстными похабными жестами и закончился обращенным к адресату розовым от мороза филеем. Яков, хоть и знал русский, разобрал лишь «подхвостья», «обмудки» и «шлендры курляндские».

– Вот видишь... – начал было Петер, но тут словно из-под земли, из ниоткуда, возникли две темные тени и со словами: «Слово и дело, по второму пункту!» – с двух сторон взяли все еще негодующего попрошайку в клещи и увлекли за собою – судя по всему, в геенну огненную. Улица ничем не откликнулась на арест пропагандиста, бабы с коромыслами следовали прежним курсом, лавочники и головы не повернули, а компания попрошаек перенесла утрату товарища, будто ничего и не случилось.

– Я понял, – глубоко вздохнул Яков. – О тех двоих, что были в карете, ты расскажешь мне дома, наедине. Но пара в черном – кто же они? Они как демоны из ада...

– Агенты тайной полиции, инквизиторы, – пожал плечами Петер, словно дело было само собой разумеющееся. – Великий инквизитор дружит с Бюренами. И градоначальник наш дружит с Бюренами. Что ни день – они все вместе обедают. Вот потому эту курляндскую парочку не стоит прилюдно обсуждать и над ними смеяться, как бы ни просила душа – может дорого обойтись.



Йоганн Альбрехт фон Корф



Барон фон Корф возвратился из Лефортовского дворца под утро, и камердинер бережно разоблачал его, отстегивая подвязки и скатывая со стройных ног парадные белые чулки. Баронесса давно спала на своей половине, и мужу являться к ней было – незачем. Нечем обрадовать. Барон проигрался сегодня, и даже дважды. Во-первых, не получил приглашения в императорские внутренние покои – проигрыш главный и самый обидный. И условлено ведь было, что приглашение он получит – но явился, как черт из табакерки, из своей Лифляндии ландрат, старший Левенвольд. Он и проследовал за государыней в ее спальню, кажется, так и не смыв с себя дорожной грязи.

Второй проигрыш был чуть легче – Бюрену в фараон. И оттого это, что Бюрен почти всегда оставался в плюсах, многие спорили – фортуна ли его хранит или туз в рукаве. И оттого, что Корфу в счет проигрыша удалось сбить Бюрену вещь, ничего не стоящую и цены совсем не имеющую. Долговую расписку младшего Левенвольда, на три тысячи яхимсталеров, еще влажную от пролитых над нею золотых гофмаршальских слез.

Доктор Бидлоу жестоко судил барона – Корф не был глуп и не был столь уж завистлив. Он был даже чересчур образован и умен – для диковатого русского двора. И все чаще ощущал неуместность свою при этом дворе – как человек, явившийся на перестрелку со шпагой.

Камердинер извлек из зеркально-русых баронских волос бархатный бант и теперь расчесывал по одной волнистые завитые пряди. Корф, полуприкрыв сонные глаза, смотрел на себя в зеркале – на само совершенство. Неуместное совершенство, нелепое, неуклюжее – увы...

Старший, первый, главный Левенвольд никогда и не был его соперником – потому как вовсе не имел соперников, был во всем первый и главный, и не после бога – но вместо. Великолепный агностик с головой в облаках. И младший Левенвольд барону соперником не был, он являлся лишь местоблюстителем брата, его тенью, сам желая собственной отставки, из галантов – в протянутые руки госпожи Лопухиной. Все видели это движение воздуха, этот невесомый полет – гофмаршала к гофмейстрине.

Соперник у Корфа один был – Бюрен. Они начинали вместе, камер-юнкерами при дворе курляндской герцогини, и тогда Корф был звезда, один из двенадцати *ugadel*, а Бюрен – дворняжка, жалованный дворянчик. Казалось – куда ему? Но и тогда уже было в нем это – умение играть, и правильно ставить, и умение продать подороже. Что продать? Да все. Эта арестантская цепкость, пришедшая с ним – из его тюремного прошлого. Несомненный талант – что к игре, что к торговле.

Бюрен видел, как хозяйка его выписывает отовсюду для себя компаньонов, шептуний и певуний. Он просчитал ее страх одиночества, вдовьей бессемейной, беспутной доли – так игрок за карточным столом просчитывает колоду через рубашку. И он предложил хозяйке то, чего никто до него не додумался дать ей, – свою семью. Собственную бюренскую семью, с детьми, с хитрой женой-подельщицей и с собой самим – продал хозяйке, словно товар. Предложил ей детей своих, и младенца, которого можно прижать к себе, баюкая – будто собственного. Семейство со всеми теплыми, и милыми, и несуразными мелочами, убежище и берлогу, в которой можно отдышаться и отлежаться, пока затягиваются раны. Он продал хозяйке – уют-

ный домик с теплым светящимся окном, место, где можно укрыться, и собственную семью, что принимает тебя – всегда, любым. Дома-дома, как говорят арестанты.

И Корф остался на обочине, непонадобившийся совершенный греховодник, и потрясенно издали смотрел, как прорастают они друг в друга, хозяйка и ее, его, Бюрена – эрзац-семья.

«Есть ли душа в нем? – думал о Бюрене Корф. – Есть ли что человеческое?» Бюрен казался ему механизмом, инструментом, бесчувственным, бесстрастным, настроенным лишь на извлечение выгод. Он никогда не проигрывал, он всегда был в плюсах. Везение или колода в рукаве? Он делал ставки со всем арестантским нахрапом – и побеждал. Играл цинично и дерзко, передавая переписку доморощенных катилин в пеленках собственного сына, он всю жизнь свою ставил на карту – и все выигрывал. Стоит ли пытаться фехтовать – с разбойником, что держит вас на прицеле?

Темный злодей, холодный истерик с вечно дрожащими пальцами...

Корф вспомнил, как Бюрен разворачивал сегодня долговую расписку младшего Левенвольда, и пальцы его плясали, будто у пьяницы. Он не пил вина, но руки тряслись – всегда. Темный человек, в лиловом театральном костюме злодея, с экзальтированными повадками злодея, легко срывающийся на скандал и слезы, но при всем при этом – машина, просчитанная кукла, Франсин Декарт...

– Вы можете ложиться, ваша милость, – камердинер накиннул на плечи барона атласный шлафрок, помог ему отыскать наощупь рукава – и отступил.



Ландрат и церемониймейстер



Царская горка была устроена просто, как и все гениальное. Из окон второго этажа во двор спускался дощатый скат, огражденный резными бортами. Скат залит был в несколько слоев водой и сверкал, как зеркало. Последние весенние морозы отступали, солнце растопило свисающие с крыш длинные сосули, и толстая, прозрачная ледяная корка на горе потихонечку подтаивала – санки оставляли на ней все более отчетливые следы.

Скатившиеся с горки саночки – красивые, точеные, с лебедиными шеями – их лакеи тут же затаскивали под скат, и уже в доме – поднимали наверх. Сами же катальщики возносились на второй этаж на хитроумном подобии фуникулера или канатной дороги, устроенном снаружи дворца. Высокие веселящиеся особы полукругом толпились на специальном широком балконе, и лакеи только успевали подносить – новые чаши с дымящимся глинтвейном.

Приглашенные доктора разбились на пары, оставаясь на грешной земле, на финише пологого горочного ската. Вокруг докторов на разные лады дули в трубы и колотили в барабан армейские музыканты, приглашенные для создания праздничного настроения. По одну сторону горки профессор Бидлоу перешучивался с другим знаменитым доктором, Лестоком, или Лестенцио, как звали здесь его почему-то, с личным хирургом цесаревны Елисавет. Оба доктора были неуловимо друг с другом схожи, словно профессия наложила на их физиономии свой несмываемый отпечаток – оба осанистые, с совиными лицами и с такой экспрессивной жестикуляцией, что казалось, вот-вот их беседа перерастет в потасовку. Доктора по очереди прикладывались к фляге, стараясь делать это незаметно, но притом не особо и скрываясь.

Яков с Петрушей дежурили по другую сторону горки, флягой с горячительным запастись не сумели, но у молодого Ван Геделе щеки горели и так – от впечатлений. Русский двор оказался роскошнее и пышнее прежде виденных им европейских дворов – и саксонского, и испанского, разве что с цесарским двором был бы счет у русского один-один.

Яков кутался в одолженную у Петера волчью шубку и смотрел снизу вверх – на монаршую особу, императрикс Анну Ивановну, и, что скрывать – новая императрикс ему несомненно нравилась. Может, и не каноническая красавица, но высокий рост и сочетание черных волос с голубыми глазами – выигрышные карты при любой внешности. А привычка часто улыбаться и грациозная простота в обращении – доктор Ван Геделе теперь понимал, отчего не рдеет очередь в императорские галанты. Пара фон Бюреннов, муж и жена, стояли возле хозяйки, будто две вороны, повернувшие клювы в одну сторону – к цели, ну в точности как профили на парной античной гемме. Вид оба супруга имели надменный и потерянный. Императрица уговаривала ехать с горки красивую даму, дама, потупясь, отказывалась.

– Обер-гофмейстрина Лопухина, – прошептал Петер Якову на ухо и прибавил интимно: – Нати боится ехать.

Возле государыни возник, словно из-под земли, нарядный господинчик в пушистых мехах и что-то беззвучно проговорил ей в самое ухо. Анна рассмеялась, внезапно расцеловала смущенную даму и повелительно отстранила ее от ската.

– Она не может ехать, она брюхата, – машинально повторил Яков беззвучные слова пушистого щеголя. Он как-то забыл, что рядом с ним не де Лион его, а всего лишь кузен Петичка.

– Ты что, читаешь по губам? – восторженно изумился Петер. – Говорят, Нати и в самом деле в тяжести...

– Мой де Лион успел научить меня, – смущенно признался Яков. – Это бывает полезно.

Наверху, на горке, щеголь в шубе обошел кругом пустующие санки и кокетливо и невинно пригласил с балетным полупоклоном саму императрикс – мол, садитесь. Та зарделась – смуглым, почти терракотовым румянцем, ласково поманила искусителя к себе и что-то такое прошептала ему – лицо щеголя не изменилось, но накрашенные его глаза приоткрылись чуть шире.

– Что такое она ему сказала? – тут же пристал любопытный Петер.

– Не понял, не видно было, – соврал Яков. Пусть и разобрал он слова – передавать их Петеру было бы подлю, довольного того, что по глупости он уже выдал красавицу-гофмейстрину. – А кто – он?

– Этот малый тут главный, это церемониймейстер, обер-гофмаршал, – Петер поднял брови и закатил многозначительно глаза – мол, посчитай и этого галанта. – Рейнгольд фон Левенвольде.

– Ничего себе, – Якову весьма понравилось сложносочиненное галантское имя. – О, глянь, какой лев! Тут можешь и не закатывать глаза, я сам обо всем догадался.

На балкон ступил и в самом деле настоящий светский лев, и все мгновенно оборотились к нему, и сама императрикс, и свита, и два бюренских синхронных супружеских клюва.

Господин сей стоил и внимания, и восхищения – тонкий в талии, с гордой осанкой военного и с головой, занесенной высоко – будто у принца крови. У него и профиль был – из тех, что бьют на монетах, и усмешка змеи, и глаза змеи – узкие, длинные, злые. Он поцеловал царскую ручку – и сама императрикс, прежде державшаяся с ясной веселостью, вдруг затрепетала от его поцелуя. Так солнце, выходя, гасит звезды, нет, так затмение – вдруг гасит солнце...

– Ландрат приехал, – прошептал с придыханием Петер. – Все, теперь все подвинутся, а нашего Корфа и вовсе зашлют – далеко и надолго, дай бог, если обратно на Митаву. Солнышко наше взошло...

– А он ландрат – чего? – уточнил Яков.

– Лифляндии, чего же еще. Прибыл на коронацию, подтвердить вольности для своих дворян, да только вот увидишь – останется насовсем. Брат грел ему место и наконец-то дождался – вернулся волк в собачью стаю.

Яков не успел расспросить поподробнее про брата. Двое саночек собрались ехать наперегонки и стояли рядом, и четыре дамы парами усаживались на сиденья, обмениваясь французскими колкостями. Доктор Лесток по ту сторону ската заволновался – одна из катальщиц была его питомица, божественная Елисавет.

– Давай с нами, Ренешка! – поманила плутовка-цесаревна красивого церемониймейстера, и тот, пожеманничав для виду, стремительной птицей взлетел на запятки, оттолкнулся от резного борта легкой ножкой – и санки понеслись.

– Центровка нарушится, – предрек Петер.

Ландрат, даром что лев и змий, вдруг вознесся на другие запятки, и вторые саночки сорвались вдогонку за первыми. То ли ландрат был тяжелее, то ли сильнее оттолкнулся – посреди горки оба экипажа зацепились друг за друга, завертелись на льду, опасно забились о борта, дамы верещали, а кавалеры – гортанно смеялись, переглядываясь, словно перелаивались молодые псы. Импровизированный поезд достиг земли почти без разрушений – разве что с Лисавет слетел ее соболиный малахай, а ландрат ободрал о резные борта свои драгоценные ботфорты. Дамы поднялись с санок, и санки, отныне единые, как собаки в греховной сцепке, тут же утащены были лакеями.

Яков глаз не мог отвести от красавицы Лисавет, румяной и белой, и та – поймала его взгляд, и незаметно подмигнула симпатяге доктору, пока взволнованный Лесток реял над нею своими совиными крылами.

– Пс-ст, – раздалось за спиною Якова, словно подманивали кошку. Петер, дубина, тем временем во все глаза таращился – как дамы отряхивают друг друга от снега.

Яков обернулся – его подзывал из-под горки церемониймейстер с дивным именем Рейнгольд. Другой соперник, ландрат, только что вознесся к балкону на фуникулере, к своей ценной добыче, а этот – отчего-то все прятался под горкой.

– Пойдем со мной, коко, ты мне нужен, – загадочно промолвил щеголь и красноречиво опустил ресницы, Яков проследил за его взглядом, вниз до теплых шерстяных гетр – одна гетра была темной от крови. Яков понял – вот он, звездный час для молодого хирурга. Не зря умельцы снабдили борта горки узорчатой резьбой...

– Рад служить вашей милости, – доктор подхватил саквояж с инструментами и уже бежал следом за своим драгоценным пациентом, под скат, в дверку для слуг, и дальше – по хитро-сплетениям коридоров.

– Вашему сиятельству, – поправил, полуобернувшись, пациент. – Перед тобою граф, дубина.

– Нижайше прошу прощения, – сладко повинулся Яков, – ваше сиятельство.

Они уже влетели вдвоем в парадную анфиладу, граф огляделся, что-то прикинул про себя и резво устремился в боковую комнату, узкую, но с высокими потолками и светлым окном. Здесь он сбросил с плеч пушистую шубу, упал с размаху на козетку и вытянул раненую ногу:

– Смотри!

Под шубой обнаружился его придворный кафтан – затканый золотом так, что не видно было бархата, блестящий и шуршащий, словно фольга. Нарядный пациент тряхнул белокурыми завитыми волосами, столь экзальтированно, что ударили по щекам его длинные серьги и рассыпались из локонов державшие высокий начес бриллиантовые шпильки:

– Ну же!

Яков присел на корточки перед козеткой, снял с пациента туфлю, и гетру, и разорванный чулок.

– Что же там такое, коко? Я – умру?

Это его «коко» означало по-французски «котенок», «киса». Яков взял в ладони изящную, как у балетного танцовщика, белую ножку – пациент задуманно хихикнул:

– Щекотно же, коко...

Вдоль тончайшей щиколотки тянулась длинная кровотокащая царапина, глубокая и уже чуть запекшаяся, слава богу, что без грязи и без заноз. Яков раскрыл саквояж, достал спирт и повязки и начал промывать рану:

– Вы будете жить, ваше сиятельство, долго и счастливо. Рана пустячная...

Пациент прерывисто вздохнул и теперь смотрел на доктора, следил за его руками – с испуганным ожиданием, словно кролик за удавом. Даже брови его, подчеркнутые золотистой тушью, подняты были трагически. Пахло от графа – помадой, и пудрой, и особенно недавним пряным глинтвейном. Яков наложил мазь, перебинтовал рану, собрал с пола рассыпанные бриллиантовые шпильки – как звезды с темного неба:

– Вы их потеряли, ваше сиятельство.

– Оставь себе, коко, – заработал...

– О, Рейнгольд! – на пороге стояла взволнованная и перепуганная дама, та самая красавица с горки, что вдруг оказалась брюхата, – обер-гофмейстрина. – Что с вами такое?

– Пустое, Нати, – отмахнулся лениво ее Рейнгольд. – Уж точно не стоит ваших слез. Я дам тебе записку, коко, – повернулся пациент к своему доктору. – Возьми в гардеробной для меня чулки. Смотритель гардеробной знает мой почерк, – он карандашом в блокноте начирикал что-то по-французски, вырвал лист и подал Якову с небрежной, нет, с пренебрежительной грацией. – Нельзя же мне возвращаться к ЕИВэ – с голыми ногами, правда, Нати?

Нати кивнула – она явно ждала, когда Яков уйдет. Яков взял записку с тихой обидой – ведь можно же было послать лакея. Но все лакеи – были на горке или возле горки, где-то там. Поэтому, наверное, все же нельзя.

– Из дверей – направо, прямо, по лесенке вверх – и там он сидит на своем стуле, – напутствовал сиятельный пациент, и Яков, скрепя сердце, устремился – в гардеробную.

Возле двери в гардеробную на стульях сидели целых два смотрителя, очень похожие друг на друга. Оба в тревожном сиреневом и в темных блондах, но один под воронным аллонжем, а другой – под лазоревым. Из львиных аллонжевых кудрей глядели два сморщенных набеленных личика с подведенными глазами и карминными полулуниями дежурных улыбок. Один смотритель держал в руках алую пряжу, второй – сматывал нить из этой пряжи в клубок. Клубок-колобок танцевал в морщинистых цепких лапках, и перстни играли капризными бликами.

– Господа, кто из вас двоих смотритель гардеробной? У меня записка от Ренг... Рейн... – Яков от волнения позабыл, как зовут его драгоценного пациента, – от его сиятельства графа. От обер-гофмаршала.

– Рене, – хором подсказали смотрители и переглянулись. – Но это – пока он вас не слышит.

Господин в лазоревом аллонже поднялся со стула:

– Я смотритель гардеробной. Давайте – ваш высокий агреман. И подержите-ка пряжу – пока я буду искать для Рене его бебехи.

Слово «бебехи» одно прозвучало по-русски – в его французском журчащем прононсе. Яков отдал записку и доверчиво принял в руки пряжу. Господин смотритель поднес записку к самым глазам, сморщил напудренный нос и нырнул за дверь. Товарищ его невозмутимо продолжил мотать кроваво-алую нить на клубок.

– Вы не слуга, – произнес он утвердительно.

– Доктор, – признался Яков. – Лекарь Яков Ван Геделе. Племянник профессора Бидлоу.

– А, Быдлин... – одобрительно кивнул господин, не отрывая глаз от клубка. – Вы Ренешкин лекарь?

– Нет, – отвечал Яков и тут же прибавил с надеждой: – Пока нет.

– Позовет – не отказывайтесь, – собеседник вскинул на Якова пронзительные зеленые глаза. Лицо его покрывали бархатистые пудренные морщины, словно ловчая сеть. Глаза в лучах морщин казались добрыми, но были на самом-то деле – лед. – Я смотритель оранжереи, виконт де Тремуй. Как устройтесь у графа – забегайте ко мне в оранжерею, я сорву для вас персик.

Смотритель гардеробной вернулся – со сложенными чулками, которые он вынес на руках, как мать младенца.

– Это его предпоследние, имейте в виду, – предупредил он сурово.

– Премного благодарен.

Яков отдал ему пряжу, цапнул чулки и быстрым шагом направился обратно. Ему было до чертиков интересно – что успели за это время драгоценный пациент и его беременная красавица.

От двери слышались голоса – и оба мужские.

– Я оставил тебя, чтобы ты грел мое место, братишка, и ты нагрел его – превосходно. Даже с избытком – о, будущий наш счастливый папи...

Говоривший, судя по всему, очень старался не орать – и голос его, гулкий и звучный, гремел лишь вполсилы. Яков решил было, что речь идет о беременной обер-гофмейстрине, но потом внезапно догадался. Не только гофмейстрина не желала сегодня ехать с горки вниз...

– Я подменял вас, как умел, – слышался тихий, с отчетливой иронией, голос церемониймейстера. – Вы знали, каков я. И вы могли бы просить об услуге кого-нибудь другого.

- Кого же? – с веселым гневом спросил собеседник.
- Хотя бы Казика, превосходный мой господин ландрат...

«Я же не должен стоять так с чулками – до морковкиных заговинок», – подумал Яков и поскребся в дверь.

- Заходи, коко, – милостиво разрешили ему.
- Яков толкнул дверь и вошел.

– Чулки, ваше сиятельство, – предъявил он свою добычу и поднял глаза от собственных протянутых рук – на высокого гостя. Вблизи превосходный ландрат оказался еще лучше – бледный от ярости, глаза его были серыми, ясными и злыми, как у большого зверя. Он отшатнулся от козетки так стремительно, что звякнула перевязь, и выпрямился, словно позируя для портрета – статный и гордый, с отброшенными будто шквальным порывом волосами, с развернутыми по-военному плечами и волевым подбородком, пересеченным – очень уместно! – настоящим! – шрамом с настоящей же дуэли. Яков сразу же вспомнил веселенький дядюшкин рассказ...

– Прощай же, *Mulier amicta sole*, – простился с братишкой ландрат, делая вид, что совсем никакого лекаря с чулками в комнате нет и в помине, и стремительно вышел.

- Тоже мне, звэр, – прошипел ему в спину церемониймейстер с польским выговором.

– Чулки, ваше сиятельство, – смиренно повторил Яков.

– И чего ты ждешь? – пациент недоуменно поднял подведенные золотом брови. – Ты совсем дурачок, коко? – он призывно качнул сахарно-белой ножкой. – Надевай же их. – И прибавил на всякий случай: – На меня, конечно же.

«Вот ведь кошкина отрыжка», – припомнил Яков меткое определение своего дорожного товарища: для церемониймейстера оно годилось в самый раз.

– Напомни-ка мне, как медик медику, что такое *Mulier amicta sole*, – попросил Яков брата Петра. В карете возвращались они вдвоем, доктор Бидлоу соединил свое одиночество с одиночеством доктора Лестока – и оба почтенных доктора продолжили возлияния, то ли в трактире, то ли в гостеприимном доме цесаревны.

– Жена, одетая в солнце, – отвечал тут же Петер. – Это не медицинское, это из Иоанна Богослова.

– А, тогда понятно, почему я не знаю...

– Что говорил тебе обер-гофмаршал? – любопытствовал Петер. – Он к тебе приставал? Пытался подкатить?

– Нет, – отмахнулся Яков. Чулки не считаются. – А он – может?

– Говорят, что может. Ты красивый, а он не разбирает – к кому... Та прекрасная дама, что боялась ехать с горки – тоже, говорят, от него брюхата.

«И не только», – вспомнил Яков и спросил, тихо, чтобы не подслушал кучер:

– Как думаешь ты, Петичка, как уживаются у одной особы сразу столько галантов – и Корф, и Бюрены, и оба брата Левенвольда? Неужели не грызутся?

– Корф – баловство одно, так, на разочек, – пояснил Петер. – Супруги Бюрены – наемные конфиденты, креатуры, они скорее такая нанятая семья, чтобы скрашивать вдовье одиночество. У Бюренов трое детей, они с Анной и жили все вместе на Митаве – в одних покоях, как мухи в кулачке, и с тех пор не могут расстаться. Бюрен управлял имением Вюрцау, а теперь он – обер-камергер, заведует всем хозяйством в Лефортовском дворце, и ремонтом, и, главное, всеми закупками. Это ее семья, Яков. А ландрат – сосед по имению, приятель, советчик и старый друг. Прежде они были на равных, хоть сейчас ландрат и примчался искать милостей, но больше не для себя самого, для своей маленькой бедной родины. Сам он стоит столь высоко, что лично для себя ничего и не просит. Ландрат несметно богат и всевластный хозяин на соб-

ственных землях, притом – избранный хозяин. Это, Ящечка, друг – и ставит он себя с государыней как друг, а вовсе не ниже. Они с Бюренами обитают на разных этажах.

– А церемониймейстер?

– Младший, Рейнгольд? Этот Рейнгольд – вселенский женский заговор, великий дамский секрет, – завистливо вздохнул Петер. – Женщины отчего-то условились считать его неотразимым и гоняются за ним, словно он переходящий приз. Кронпринцесса Шарлотта, матушка Екатерина, цесаревна Елисавет – государыне нашей лестно было, наверное, побывать в подобной компании, а заодно проверить, что там такого особенного. Так он остался тобою доволен?

– Быть может, – пожал плечами Яков. – Я не хотел бы служить столь надменному говнюку. Кривляка, трусишка, шпынял меня, словно слугу. А сам – испугался, как девчонка, собственной крови... Я привык к более достойному обращению, возможно, мой де Лион меня разбаловал.

– Так наймись в лекари к барону Корфу, он добряк, и жена его в тяжести. Дядюшка рад будет рекомендовать тебя, он все мечтает сбыть тебя с рук, как невесту-перестарка.

«Вовсе нет, – с обидой подумал Яков, – я ему дорог, это ты у нас – бесполезный бездельник». А вслух сказал:

– Ты сам говоришь, что Корфа скоро отставят. Не хочу играть в проигранную игру.

– А игра выигрышная – кто? Лифляндский ландрат? – тут же понял Петичка.

– Покойная матушка учила меня – всегда выбирай самое лучшее, – ответил Яков. – Ты угадал. Я попрошу дядюшку о рекомендации к ландрату – если место это свободно.

Вельможа, дипломат, миллионер, *chevalier sans crainte et sans reproche*, галант высокой особы. Живой его де Лион... Темный шрам от настоящей дуэли, пересекающий лик благородного льва – от подбородка до скулы, скорее украшение, чем отметина... Все бы хорошо, если бы не единственная встреча, давняя, почти сошедшая с памяти, как старая кожа с ожога, – и с ним ли встреча, или с кем другим, но ведь со столь похожим... Город Ревель, тихая заводь, размеренная жизнь, привычные шпионские заботы и хлопоты – и вдруг явление того господина, словно царапнувшая по лицу оплеуха...

Может, и не запомнил бы Яков ту ревельскую встречу, если бы не совпала она с его единственным, но весьма обидным акушерским фиаско.

Три с половиною года назад, на самой заре их с де Лионом совместных путешествий, кисли они которую неделю в скучной эстляндской столице, правда, в лучшей городской гостинице. Де Лион ожидал прибытия некой персоны, инкогнито, персона в дороге задерживалась, господа скучали. Таращились в окна, считали проезжающие экипажи, Яков упражнялся в новом для себя шпионском умении – чтении по губам. Вскоре весь потолок в номере сделался в плевках реактивов – молодой Ван Геделе учился составлять эликсиры и яды. Напротив лучшей в городе гостиницы размещался и лучший в городе бардак, и два молодых бездельника скоро протоптали туда дорожку.

Из этого самого борделя и прибежала рано утром растрепанная девица:

– Доктор, пойдете скорее! Марта рождает...

– Иди, Яси, – разрешил де Лион, не отрываясь от сложного трехколодного пасьянса, которому посвятил он всю ночь, – хоть какое-то событие...

Яков собрал саквояж, накинул плащ. В саквояже прятался предмет его гордости – акушерские щипцы, собранные по чертежу, якобы краденному в Британии у самих господ Чемберленов. Молодому доктору не терпелось пустить их в дело. Прежде как-то не доводилось – бабы словно сговорились, рожали легко и быстро.

– Отчего вы не перенесли ее в комнату? – доктор подивился, что бедняга Марта рождает внизу, в прихожей, на диванчике перед самой лестницей. Рядом с роженицей хлопотали две девки и русская акушерка – старуха с опечатавшимся на лице многолетним алкоголизмом.

– Как воды отошли – побоялись наверх тащить, а теперь и поздно уже, – призналась хозяйка, тощая, как спица, фрау Глюк, наверняка мерзавка сама запретила тащить роженицу наверх – чтоб не пачкать комнат, – да и утро раннее, клиент всего один, и он не против, даже платит – чтобы смотреть.

Яков краем глаза глянул наверх – на галерею, облокотясь на перила, и в самом деле стоял какой-то господин, но времени не было любоваться на этого идиота, пришла самая пора для щипцов.

– Полотенце, воду! – приказал молодой доктор, и девицы метнулись на кухню. – Давно началось? Почему прежде меня не вызвали?

– Так шло все как надо, только видите – головка застряла, – начала оправдываться фрау Глюк, акушерка же молчала с тупым выражением лица, видно, не понимала по-немецки.

– Что за говно в родовых путях? – Яков посветил между раздвинутых ног – там, в глубине, кроме черной застрявшей головки, насыпано было что-то желтое. – Что за кристаллы, ведьма? – грозно по-русски спросил он акушерку, и та проблеяла почтительно:

– То сахарочек, батюшка, ребеночка на свет выманивали...

– У-у, идолище! – Яков со злости даже замахнулся на дуру щипцами, потом спросил роженицу: – Марта, есть у тебя венера какая, чтоб я знал?

Марта ему не отвечала, только орала охрипшим от натуги голосом, но ответила фрау Глюк:

– У Марты сифилис, доктор. Год или полгода – она не признается.

«Хорошо, что мы к ней не ходили», – подумал Яков и сказал вслух:

– Бережно придется тянуть, кости плода при сифилисе крайне хрупки.

И – сглазил. Все случилось – как и рассказывал он потом профессору Бидлоу: и голову раздавил, и вытаскивал младенца из материнского чрева по кускам. Был младенец, на самом деле, не жилец на белом свете – при таком-то сифилисе, но Яков все равно не любил те роды вспоминать. И орущую Марту, и дуру акушерку с ее «сахарочком», и паршивку Глюк. И, главное, любопытного зрителя с галереи.

Доктор заставил роженицу выпить лауданума, водки с опиумом, крики поутихли, и Яков круглым ножом вычистил в медный таз – все, что осталось. Девки стояли около него с открытыми ртами, акушерка, дрянь пьяная, уже храпела в кресле, а фрау Глюк растворилась где-то в недрах своих бордельных владений.

– Вот и все, Марта, – сказал роженице доктор. – Можешь поспать, и неделю хотя бы – не работай. И уж постарайся вперед не беременеть, а то видишь, что выходит.

Доктор прикрыл роженицу пледом и принялся собирать потихоньку добро свое обратно в саквояж, и тут с галереи тихим лепетом послышались – аплодисменты. Яков поднял голову и глянул наверх – безумными глазами. На этого идиота.

Он был в маске, тот любопытный идиот, и навряд ли Яков мог бы потом утверждать, что видел в ревельском борделе именно лифляндского ландрата. Тот зритель был очень дорого одет, с драгоценной перевязью, и темные кудри вились над его головой – словно отброшенные шквальным ветром. И этот шрам, от подбородка до скулы, и глаза, серые, змеиные, злые... Он стоял так высоко, это мог быть просто похожий человек, мало ли дуэлянтов со шрамами...

А потом – из двери за спиной любопытствующего зрителя вышел еще один. В такой же маске, но – полуодетый, в расстегнутой рубашке, очень белый и тонкий, как молочный серп луны. Этот, новый – подошел сзади, и обнял своего – друга ли, любовника? – за плечи белой, в блестящих перстнях и браслетах, рукой, и чуть толкнул назад, к себе, и что-то прошептал

ему на ухо. И тот улыбнулся, словно услышал забавную шутку. Но то не была забавная шутка – Яков выучился читать по губам, он понял.

Волосы и кожа – как сам солнечный свет, готически переломленная талия – это мог быть братишка Рейнгольд. А мог и не быть – все-таки маска. Мог оказаться и просто похожий на него человек.

– Вот так же, кусок за куском, ты и вытягиваешь из меня мою душу...

– У тебя нет – никакой души, – господин со шрамом сбросил с плеча молочную, браслетами звякнувшую руку, и повернулся, и медленно побрел по галерее – прочь.

Дядя и племянник приходили в себя в профессорском кабинете, после долгой и сложной операции по извлечению рогатого камня из мочевого пузыря, дядя на операции – блистал, племянник – достойно ассистировал, а симулянт Петруша отбыл домой – с притворной кишечной коликой.

Постучался в кабинет давешний румяный Михаил, объявил:

– К вашей милости господин Тремуй!

Не объяви его секретарь-санитар, Яков и не признал бы зрителя оранжереи. Без пышного вороного аллонжа и без краски Тремуй имел невзрачный вид. Сивые редкие волосы и морщинистое кирпичное личико, в отсутствие пудры оказавшееся обветренным, с темными морщинами, в сетке лопнувших сосудов. Даже изумрудные лучистые глаза его поблекли и отсвечивали – болотом...

– Доктор! – посетитель прынул к профессору на тонких дрожащих ногах, комкая в пальцах платок – совсем как оперная певица ампула «добродетельная супруга». – Умоляю вас! Карета внизу! Вы не можете не поехать... Месье Мордашов очень, очень плох... Он в отчаянии, и только вы, доктор...

– Не поеду, – тихо, но твердо отрезал доктор Бидлоу. – После сегодняшнего пузыря я вашего Мордашова попросту покалечу – руки дрожат, глаза закрываются. Да и годы не те – козлом скакать по вызовам. Вот, берите Ван Геделе, он молодой хирург, многое обещает. Поедешь с ним, Яси?

– А что у вас – свищ, грыжа? – на всякий случай уточнил Яков и под конец назвал самое страшное: – Или – ущемление?

– Побои у нас, – признался, потупясь, де Тремуй и со стыда порвал-таки платок.

– Поехали, – легко согласился Яков, побои ничуть его не пугали. – Вы же не против, виконт, если я заменю дядюшку?

– О да, только скорее, – пропел де Тремуй, как показалось Якову, совсем уж наигранно страдающим голосом.

Вдвоем вышли они на улицу – уже стемнело, весна наконец-то вошла в свое право, снег растаял, и кареты переобулись с полозьев – на колеса.

– Господин Мордашов – это зритель гардероба? – спросил Яков, забираясь в карету вслед за своим Вергилием. – При той нашей встрече мы не успели друг другу представиться.

– О да, мой бедный Анри – он смотрит за гардеробной в императорских покоях, – в пространство сомнамбулически проговорил де Тремуй, и Якову все сильнее стало казаться, что он придуривается и вовсе не убит горем, а себе на уме. – Такая жестокая судьба... Бедный мой сосед...

Даром что француз – де Тремуй говорил по-русски ровно и гладко, без привычной французам картавости.

– Вы вместе живете? – спросил Яков, чтобы как-то поддержать беседу.

– Анри приютил меня, – пояснил его визави, разведя сухие ладошки, словно богоматерь на иконе. – Я ведь иностранец, своего дома у меня нет, а русская казна человеку на моей должности дает недостаточно – чтобы и поддерживать подобающий вид, и содержать дом, и содер-

жать выезд. Эти наши с Анри придворные наряды – копия нарядов нашего патрона и начальника, обер-камергера фон Бюрена, – Тремуй почтительно возвысил глаза. – Мы все обязаны носить его цвета, а это так дорого стоит...

– А как вышло, что его вдруг побили? – спросил Яков, и де Тремуй от ужаса подпрыгнул:

– Кого? Фон Бюрена?!

– Да нет, вашего месье Анри.

Смотритель выдохнул с явным облегчением.

– Богиня любви не была к нему благосклонна, а бог коварства и войны Арес как раз обратил на Анри свое пронзительное внимание, – начал с недобрый энтузиазмом свой рассказ де Тремуй. – Мой неосторожный друг назначил свидание трем дамам в один день. Но он не удержал язык за зубами – дамы узнали друг о друге и рассказали мужьям, и на первом же свидании Анри поджидали в засаде все шестеро...

– И что же – побили смотрителя императорской гардеробной? – догадался Яков.

– Гардеробная общая, – поправил его пунктуальный де Тремуй. – В ней хранятся наряды и гофмаршалов, и камергеров, и мундшенков, и шталмейстеров, и еще бог знает кого. А побито было частное лицо, без касательства к службе, но весьма унижительно – розгами, словно семинарист...

– Приедем – увижу. – Яков не верил, что даже шестеро с розгами способны нанести смотрителю смертельный ущерб.

– А вы – так и не устроились в хирурги к обер-гофмаршалу Левенвольду? – спросил де Тремуй, чуть склонив голову. – Он столь многообещающий пациент – после каждого праздника по три дня лежит в своем доме, болеет. С таким вы без работы не останетесь.

– Дядюшка не отпускает меня пока, я нужен ему в госпитале, – признался Яков. – А потом – кто знает, как карта ляжет. А разве у обер-гофмаршала нет лекаря?

Де Тремуй отчего-то рассмеялся, помотал головой – так, что затрясся жидкий его сивый хвост, и хлопнул в ладоши:

– Мы приехали, доктор Ван Геделе. Прошу!

Страдающий Анри – или, вернее, Андрей Нилович – Мордашов не отнял у доктора Ван Геделе много времени. Яков осмотрел три розовых рубца, пролежавших поперек хребтины не по годам резвого селадона, наложил повязку, выписал для аптекаря рецепт на заживляющую мазь и собрался было прощаться.

– Долго ли буду я прикован? – спросил болезный, отныне обреченный спать на животе – и бог знает сколько.

– Две недели, – прикинул Яков, – впрочем, через три дня вы сможете вставать. Но – никакой придворной службы, ваш расшитый кафтан может повредить рубцам, да вы и не влезете в него – будет больно.

Незадачливый любимец Амура охнул, застонал и уселся на скорбном ложе – чтобы рассчитаться с доктором. Этот щеголь без своего бирюзового аллонжа оказался абсолютно, яично лыс, но хитрые глаза его не поблекли, горели прежней берлинской лазурью.

– А шрамы останутся, доктор? – спросил он весело.

– Через год и видно не будет, – пообещал Яков и подумал: «Неужели есть кому смотреть?» Впрочем, горе-любовник казался самоуверенным и обаятельным, так что кто знает?

Доктор Ван Геделе простился с пациентом, пообещал заехать денька через три и устремился вниз по скрипучей узкой лесенке, надеясь за полчаса добежать до дома – по свежей весенней грязи.

– Позвольте отвезти вас домой? – у выхода доктора караулил приживала де Тремуй. – Вы спасли моего друга, и я просто обязан...

– Жизнь господина Мордашова была вне опасности, – не стал врать доктор. – Но все равно вы окажете мне неоценимую честь.

Де Тремуй первым влез в карету и любезно принял докторский саквояж. «Что тебе от меня надо?» – подумал Яков, устраиваясь на подушках. Лошади ступали еле-еле, то ли из-за грязи, то ли Тремуй так велел кучеру – помедленнее плестись.

– Скажите, доктор, можно ли вставные от покойника зубы сделать снова белыми? – заискивающе спросил де Тремуй. – Столько денег потратил, поставил, а они все темнеют и темнеют...

– Конечно, я с охотой передам вам такой лак, как для церковных скульптур, – пообещал Яков. – Намажете зубы перед выходом – будут белые. Правда, если пожелаете пищу принять – все съестся.

– Я равнодушен к еде, – вздохнул де Тремуй. – А дорог лак?

– Рупь. Им при дворе многие пользуются, особенно дамы... – начал Яков и тут же прикусил язык, чтоб не проболтаться, какие именно дамы, – это было бы непорядочно. Но собеседник его тут же развил эту широкую тему:

– О, да, Барбаренька Черкасская! Давеча села за стол с жемчужной сияющей улыбкой, а вставала из-за стола – с мрачной физиономией, и уже совсем не улыбалась. Барбаренькин жених все старался ее рассмешить, так и вился кругом, как будто нарочно. А может, и нарочно, он терпеть не может свою невесту. И, знаете, доктор, Рене добился своего – Барбаренька рассмеелась, и все увидели ее настоящие черные зубки, и Ренешечка сделал такое лицо, словно наконец-то выиграл в свое любимое экарте. Они теперь не разговаривают, эти жених с невестой...

– Ренешечка – это тот самый Левенвольд? – уточнил Яков.

– Он самый, доктор, – подтвердил де Тремуй. – Вот, казалось бы, живи да радуйся – сосватали тебе от щедрот самую богатую в империи невесту. Нет, теперь он все время с такой миной, как будто его несут на заклятие.

– Может, другую невесту хочет? – предположил Яков.

– Да никакую не хочет. Его метресса, Нати Лопухина, замужем, и наш птимэтр, кажется, собрался хранить ей верность. Или не ей, кому-то другому, – де Тремуй подмигнул. – Вы слышали историю этой знаменитой помолвки?

– Увы, нет, – отвечал Яков, подумав при этом: «И фиг бы с нею».

– Не так давно обер-камергер фон Бюрен и обер-гоф-маршал Рене Левенвольд составили партию в фараон, и Рене проигрался совершенно сокрушительно. И на другой день объявлял испанского посланника с таким трагическим лицом – вы же видели, какие у него выразительные глаза, посмотришь, и уже жалко. Ее величество, как только посланник отбыл, спросила: отчего такая мина? У женщин необъяснимая слабость к Рене, такая же необъяснимая, как к этим маленьким трясущимся собачкам, которым хочется с размаху дать пинка за их убожество, а дамы тискают их и носят за пазухой. Рене не стал скрывать, в чем его горе, признался в проигрыше, посетовал на злобу и жестокость фон Бюрена, на предстоящую долговую яму – и тут же получил свой проигрыш из казны. Не стоит удивляться, что через неделю Рене опять продулся, и снова Бюрену, и держал свой гофмаршальский жезл на празднике – с самым кислым лицом. И опять – принял свой проигрыш обратно, из казны.

– И третий раз? – ведь непременно должен был быть и третий раз, как в русской сказке.

– На третий раз ее величеству сей балаган наскучил, и обер-камергер фон Бюрен послан был сватом к семейству Черкасских, вы же знаете, что подобному свату невозможно отказать. Младший Левенвольд получил руку самой богатой на Руси невесты, и под ее приданое он теперь и играет. И при дворе играет, и в московских игорных притонах. А кислая мина – похоже, осталась с ним навсегда.

– Я собрался было его пожалеть, но мы, кажется, приехали, – с облегчением провозгласил доктор Ван Геделе.

– Погодите, – де Тремуй удержал его руку своими сухими жесткими пальцами. – Я не рассказал вам – последнюю сплетню. Нам нельзя расстаться, пока вы ее не услышите!

– Говорите же, – поторопил Яков, – дядюшка заждался.

– Вы что-нибудь слышали – о черной иконе, исполняющей любые желания? – спросил де Тремуй тихо-тихо, чтобы не подслушал их кучер. – О подземной часовне и о тайном проводнике, которому нужно назвать секретное слово и он приведет – к святилищу?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.